





Мишель МОНТЕНЬ



ОПЫТЫ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА

Москва
2017

УДК 82-01 (Фр)
ББК 84(0)3
М77

Серия основана
в 2007 году

MICHEL DE MONTAIGNE
Les essais

Перевод с французского
А. Бобович, Н. Рыковой, Ф. Коган-Бернштейн

Монтень М.

М77 Опыты. Полное издание в одном томе/Пер. с фр. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1149 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0445-2

В одном томе собраны все три книги «Опытов», созданных знаменитым французским философом и мыслителем XVI века Мишелем Монтенем. Это оригинальнейшее произведение мировой литературы, ставшее «достоянием на века».

УДК 82-01 (Фр)
ББК 84(0)3

ISBN 978-5-9922-0445-2

© Перевод А. Бобович, 2017
© Перевод Н. Рыкова, 2017
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

К ЧИТАТЕЛЮ

Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родине и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо иного, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь, как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сладостной свободой изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотой нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги — я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года.

Де Монтень

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

РАЗЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО ДОСТИЧЬ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

Если мы оскорбили кого-нибудь и он, собираясь отмстить нам, волен поступить с нами по своему усмотрению, то самый обычный способ смягчить его сердце — это растрогать его своею покорностью и вызвать в нем чувство жалости и сострадания. И, однако, отвага и твердость — средства прямо противоположные — оказывали порою то же самое действие.

Эдуард, принц Уэльский, тот самый, который столь долго держал в своей власти нашу Гиень, человек, чей характер и чья судьба отмечены многими чертами величия, будучи оскорблен лиможцами и захватив силой их город, оставался глух к воплям народа, женщин и детей, обреченных на бойню, моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах, пока, продвигаясь все глубже в город, он не наткнулся на трех французов-дворян, которые с невиданной храбростью, одни сдерживали натиск его победоносного войска. Изумление, вызванное в нем зрелищем столь исключительной доблести, и уважение к ней притупили острие его гнева и, начав с этих трех, он пощадил затем и остальных горожан.

Скандербег, властитель Эпира, погнался как-то за одним из своих солдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его со шпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным уважения образом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физической силе и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий пример совершенно иначе.

Император Конрад III, осадив Вельфа, герцога Баварского, не пожелал ни в чем пойти на уступки, хотя осажденные готовы были смириться с самыми позорными и унижительными условиями, и согласился только на то, чтобы дамам благородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено было выйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и унося на себе все, что они смогут взять. Они же, руководясь великодушным порывом, решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. Императора до такой степени восхитил их благородный и смелый по-

ступок, что он заплакал от умиления; в нем погасло пламя непримиримой и смертельной вражды к побежденному герцогу, и с этой поры он стал человечнее относиться и к нему и к его подданным.

На меня одинаково легко могли бы воздействовать и первый и второй способы. Мне свойственна чрезвычайная склонность к милосердию и снисходительности. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, как кажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем, для стойков жалость есть чувство, достойное осуждения; они хотят, чтобы, помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывали сострадания к ним.

Итак, приведенные мною примеры кажутся мне весьма убедительными; ведь они показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоих названных средств, остались непоколебимыми перед первым из них и не устояли перед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким, откуда проистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твердость, а также упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могут оказывать изумление и восхищение. Пример тому — фиванский народ, который, учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что они продолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного и предуказанного им срока, с трудом оправдал Пелопида, согнувшегося под бременем обвинений и добивавшегося помилования лишь смиренными просьбами и мольбами; с другой стороны, когда дело дошло до Эпаминонда, красноречиво обрисовавшего свои многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видом попрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться за баллотировочные шары и, расходясь с собрания, люди всячески восхваляли величие его души и бесстрашие.

Дионисий Старший, взяв после продолжительных и напряженных усилий Регий и захватив в нем вражеского военачальника Фитона, человека высокой доблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нем трагический пример мести. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велел утопить его сына и всех его родственников. На это Фитон ответил, что они, стало быть, обрели свое счастье на день раньше его. Затем Дионисий велел сорвать с него платье, отдать палачам и водить по городу, жестоко и позорно бичуя и, сверх того, понося гнусными и оскорбительными словами. Фитон, однако, стойко сохранял твердость и присутствие духа; идя с

гордым и независимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородное и правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозил последнему близкой карой богов. Дионисий, прочитав в глазах своих воинов, что похвальба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу не только не возмущают их, но что, напротив, изумленные столь редким бесстрашием, они начинают проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднять мятеж и даже вырвать его из рук стражи, велел прекратить это мучительство и тайком утопить его в море.

Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление. Вот перед нами Помпей, даровавший пощаду всему городу мамертинцев, на которых он перед тем был сильно разгневан, единственно из уважения к добродетелям и великодушию одного их согражданина — Зенона; последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственной милости: чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, который оказал Сулле гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии, нисколько не помог этим ни себе ни другим.

А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр, превосходивший храбростью всех когда-либо живших на свете и обычно столь милостивый к побежденным врагам, завладев после величайших усилий городом Газой, наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительное искусство и доблесть которого он имел возможность не раз испытать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненный и истекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпой македонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа досталась ему столь дорогою ценой, — ибо, помимо больших потерь в его войске, его самого только что дважды ранили, — крикнул ему: «Ты умрешь, Бетис, не так, как хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придумать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но больше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам. Тогда Александр, выведенный из себя его гордым и упорным молчанием, продолжал: «Преклонил ли он колени, слетела ли с его уст хоть одна-единственная мольба? Но поверь мне, я преодолею твое безмолвие и, если я не могу исторгнуть из тебя слово, то исторгну хотя бы стоны». И распаляясь все больше и больше, он велел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за нею живым, раздирая, таким образом, и уродуя его тело. Случилось ли это из-за того, что Александр утратил уважение к доблести, так как она была для него делом привычным и не

вызывала в нем восхищения? Или, быть может, он настолько высоко ценил собственную, что не мог с высоты своего величия видеть в другом нечто подобное, не испытывая ревнивого чувства? Или же свойственная ему от природы безудержности гнева не могла стерпеть чьего-либо сопротивления? И, действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надо полагать, при взятии и разорении Фив, когда у него на глазах было самым безжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все и лишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрых шесть тысяч, причем никого из них не видали бегущим или умоляющим о пощаде; напротив, всякий, бросаясь из стороны в сторону, искал случая столкнуться на улице с врагом-победителем, навлекая на себя таким путем почетную смерть. Не было никого, кто бы, даже изнемогая от ран, не пытался из последних сил отомстить за себя и во всеоружии отчаянья найти утешение в том, что он продает свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть, однако, не породила в нем никакого сочувствия, и не хватило целого дня, чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня продолжалась до тех пор, пока не пролилась последняя капля крови; пощажены были лишь те, кто не брался за оружие, а именно: дети, старики, женщины, дабы доставить победителю тридцать тысяч рабов.

ГЛАВА II

О СКОРБИ

Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его исключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель, совесть — чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестили этим же словом коварство и злобу. Ведь это — чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стоики воспевают мудрецу предаваться ему.

Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу, царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него в одеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громко стенали, сам он остался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, не промолвил ни слова; то же самообладание сохранил он и тогда, когда увидел, как его сына ведут на казнь. Заметив, однако, одного из своих приближенных

в толпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражать крайнюю скорбь.

Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож. Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорой и гордостью всего рода; спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломлен этим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянию, что подало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этим последним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, что для скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было еще нескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.

Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ Псамменита Камбизу, пожелавшему узнать, почему, оставаясь безучастным к горькой доле сына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. «Оттого, — сказал Псамменит, — что лишь это последнее огорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения».

Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнего живописца, который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной, ни в чем не повинной девушки, достиг в этом отношении предела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степень отчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел, будто несчастная мать Ниобея, потеряв сначала семерых сыновей, а затем столько же дочерей и не выдержав стольких утрат, в конце концов превратилась в скалу —

Diriguise malis¹.

Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое оцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья, превосходящие наши силы.

И, действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное случа-

¹ Окаменела от горя (лат.).

ется с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях, — а некоторое время спустя, разразившись, наконец, слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее.

Et via vix tandem voci laxata dolore est¹.

Во время войны короля Фердинанда со вдовою венгерского короля Иоанна, в битве при Буде, немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменной храбростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав вместе с остальными, кто же все-таки этот всадник, он, после того как с убитого сняли доспехи, обнаружил, что это его собственный сын. И в то время, как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы; выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов, и он, оцепенев, не пал замертво наземь.

Chi può dir com' egli arde, è in picciol fuoco².

Говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:

misero quod omnes
Eripit sensus mihi. Nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
Quod loquar amens.
Lingua sed torpet, tenuis sub artus
Flamma dimanat, sonitu suopte
Tinniunt aures, gemina teguntur
Lumina nocte³.

Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах; наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюбленными, та ледяная холодность,

¹ И с трудом, наконец, горе открыло путь голосу (*лат.*).

² Кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем (*ит.*).

³ Увы мне, любовь лишила меня всех моих чувств. Стоит мне, Лесбия, увидеть тебя, как я, обезумев, уже не в силах что-либо произнести. У меня цепенеет язык, нежное пламя разливается по всему телу, звоном сами собой наполняются уши и тьмой заволакиваются глаза (*лат.*).

которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

*Curae leves loquuntur, ingentes stupent*¹.

Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.

*Ut me conspexit venientem, et Troia circum
Arma amens vidit, magnis exterrita monstis,
Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,
Labitur, et longo vix tandem tempore fatur*².

Кроме той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах, кроме Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, кроме, наконец, Тальвы, умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку: так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер. И чтобы привести еще более примечательное свидетельство человеческой суетности, укажем на один случай, отмеченный древними, а именно, что Диодор Диалектик умер во время ученого спора, так как испытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент.

Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти. Меня не так-то легко увлечь — такова уж моя природа; к тому же, благодаря постоянному размышлению, я с каждым днем все более черствую и закаляюсь.

ГЛАВА III

НАШИ ЧУВСТВА УСТРЕМЛЯЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАШЕГО «Я»

Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять, — ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое, — затрагивают одно из наиболее распро-

¹ Только малая печаль говорит, большая — безмолвна (*лат.*).

² Едва она заметила, что я подхожу, и увидела, в изумлении, вокруг меня троянских воинов, — уstraшенная великим чудом, она обомлела; жизненный жар покинул ее кости; она падает и лишь спустя долгое время молвит (*лат.*).

страненных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вовне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. *Calamitosus est animus futuri anxius*¹.

Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: «Делай свое дело и познай самого себя». Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себе и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всего он должен познать, что он такое и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не считает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. *Ut stultitia, etsi adepta est quod concupivit nunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapientia semper eo contenta est quod adest, neque eam unquam sui poenitet*².

Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нем.

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно обрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием их преемников: ведь и то и другое мы нередко ценим дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, что к его памяти относятся точно так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, по-

¹ Несчастна душа, исполненная забот о будущем (*лат.*).

² И если глупость, даже достигнув того, чего она жаждала, все же никогда не считает, что приобрела достаточно, то мудрость всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не досадует на себя (*лат.*).

ка их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит не заслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия.

Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: «Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того, как ты убил свою мать, как ты стал поджигателем, скомоухом, возницею на ристалищах, я возненавидел тебя, ибо чего же другого ты стоишь?» Второй же, когда ему был задан Нероном вопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: «Потому, что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния». Но кто же в здравом уме вздумал бы осуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеямили его после смерти и останутся на вечные времена?

Меня огорчает, что, при всей безупречности принятого у лакедонян образа жизни, мы находим у них нижеследующий весьма лицемерный обряд: после смерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стонали и плакали, возглашая, что покойный — каков бы он ни был на деле — был лучшим из их царей; таким образом, они воздавали сану умершего ту похвалу, которая принадлежит по праву только заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым: а можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер, как подобает, если он оставил по себе недобрую славу и если потомство его презренно? Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь только мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек ни-

когда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив лишь после того, как перестал существовать.

Quisquam

Vix radicitus e vita se tollit, et eiicit:
Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse...
Nec removet satis a proiecto corpore sese, et
Vindicat¹.

Бертран Дю Геклен умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д'Альвиано, начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя там военными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войске венецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск. Теодоро Тривульцио, однако, воспротивился этому: он предпочел пробиться открытою силой, подвергнув себя случайностям битв. «Не подобает, — сказал он, — чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, выказал после смерти страх перед ними».

Здесь будет кстати вспомнить о том, что, согласно обычаям греков, всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело, как бы отказываясь тем самым от чести быть победителем и лишаясь, таким образом, права на то, чтобы воздвигнуть трофей. Победителями считались те, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий не мог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и, напротив, Агесилай закрепил за собой сомнительную победу над беотийцами.

Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простиравать заботы о себе за пределы своего земного существования, но, сверх того, также верить, что милости Неба довольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки. Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности, — не говоря уже о примерах из нашего времени, — что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I, король английский, удостоверившись во время продолжительных войн своих с шотландским королем Робертом, насколько его присутствие способствовало успеху в делах, — ибо всему, чем он лично руководил, неизменно сопутствовала победа, — умирая, связал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот, по-

¹ Вряд ли хоть кто-нибудь может с корнем изъять и вырвать себя из жизни. Сам того не сознавая, всякий предполагает, что от него должно нечто остаться, и он не может полностью отделить себя от простертого трупа и отрешиться от него (*лат.*).

сле его кончины, выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению плоть; что до костей, то он завещал сыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами, — словно судьба роковым образом привязала победу к его костяку.

Ян Жижка, возмущивший Богемию ради поддержки заблуждений Уиклифа, высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву с врагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые им в упорной борьбе. Равным образом, некоторые индейцы, отправляясь сражаться с испанцами, несли с собою кости одного из умерших вождей, памятуя о тех успехах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы Нового Света берут на войну останки своих доблестных, погибших в сражениях воинов, дабы они служили им примером храбрости и залогом победы.

В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда, который, почувствовав, что смертельно ранен выстрелом из аркебузы, на убеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизни показывать врагу спину, и продолжал биться, пока его не покинули силы; чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю; так он и скончался.

Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. Император Максимилиан, прадед ныне царствующего короля Филиппа, был государем, наделенным множеством достоинств и среди них — необыкновенною телесною красою. Но наряду с этими качествами он обладал еще одним, вовсе не свойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращают порою в трон свой стульчак: он не позволял видеть себя за нуждою никому, даже самому приближенному из своих слуг. Он всегда мочился в укромном месте и, будучи стыдлив, как девственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было тех частей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, не ведающим ни в чем стеснения, я, тем не менее, также наделен от природы стыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости и меня не толкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволяю себе нескромных поступков и не обнажаю ни перед кем того, что по обычаю должно

быть прикрыто. Я страдаю скорее застенчивостью, и притом в большей мере, чем подобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Но император Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, что особо оговорил в своем завещании, чтобы ему после кончины надели подштанники, и добавил в особой приписке, чтобы тому, кто это проделает с его трупом, завязали глаза. Если Кир завещал своим детям, чтобы ни они, ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикоснулись к нему, после того как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснение этому в каком-нибудь религиозном веровании; ведь и его историк и сам он, помимо прочих великих достоинств, отличались еще и тем, что насаждали на протяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам.

Мне очень не по душе нижеследующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможи, об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном и на военном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытывая невыносимые боли, причиняемые каменной болезнью, он в последние часы своей жизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониала своих похорон, причем заставлял навещавших его придворных клясться ему, что они примут участие в похоронной процессии. Он обратился с настойчивой просьбой даже к самому королю, которого видел перед своей кончиной, чтобы тот велел своим приближенным прибыть на его погребение, подкрепляя свое ходатайство многочисленными соображениями и примерами, подтверждавшими, что человек его положения имеет на это бесспорное право; он скончался, по видимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля столь желанного обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством и церемониалом своих собственных похорон. Столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал.

А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства, образчики которой также найдутся в моем роду; она представляется мне единокровной сестрой упомянутой выше. Эта странность также состоит в том, чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессии, но проявлять при этом исключительную, совершенно не принятую в таких случаях, бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарем. Я знаю, что многие хвалят подобную скромность и, в частности, одобряют последнюю волю Марка Эмилия Лепида, запретившего своим наследникам устраивать ему после смерти обычные церемонии. Неужели, однако, умеренность и воздержанность в том только и заключаются, чтобы избегать расточительности и излишества, когда они уже не могут более доставить нам пользу и удовольствие? Вот, действительно,

легкий и недорогой способ самосовершенствования! Если бы требовалось перед смертью оставлять на этот счет распоряжения, то полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле, каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философ Ликон поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело земле там, где они сочтут наилучшим; что же касается похорон, то он завещал, чтобы они не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставляю обычаю установить распорядок похоронного обряда и охотно отдам свое мертвое тело на благоусмотрение тех, — кто бы это ни оказался, — кому придется взять на себя эту заботу: *Totus hic locus est contemnendus in nobis, non negligendus in nostris*¹. И святая истина сказана одним из святых: *Curatio funeris, condicio sepulturae, pompa exsequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum*². Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последние мгновения его жизни, каким образом желает он быть погребенным, тот ответил ему: «Как вам будет угодно». Если бы я простирал заботы о своем будущем столь далеко, я счел бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто, продолжая жить и дышать, ублажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышности погребальных обрядов и находит удовольствие видеть в мраморе свои безжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и ублажать свои чувства тем, что бесчувственно, кто умеет жить своей собственной смертью.

Я проникаюсь ненавистью к народоправству, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее естественным и справедливым, когда вспоминаю о бесчеловечном произволе афинян, беспощадно казнивших, не пожелав даже выслушать их оправданий, своих храбрых военачальников, только что выигравших у лакедемонян морское сражение при Аргинусских островах, самое значительное, самое ожесточенное среди всех, какие когда-либо давались греками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу над неприятелем, они воспользовались предоставленными ею возможностями, а не задержались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитых сограждан. Особенно гнусною представляется мне эта расправа, когда я вспоминаю о Диомедоне, одном из осужденных на казнь, человеку замечательной воинской доблести и гражданских добродетелей. Выслушав обвинительный приговор, он вышел вперед, чтобы произнести речь, и, хотя ему впервые позволили беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не для са-

¹ Мы должны относиться с презрением ко всем этим заботам, когда дело идет о нас, но не пренебрегать ими по отношению к нашим близким (*лат.*).

² Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — все это скорее утешение для живых, чем облегчение участи мертвых (*лат.*).

мозащиты и не для того, чтобы показать очевидную несправедливость столь жестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу об ожидающей этих судей судьбе; он обратился к богам с мольбой не карать их за приговор и, опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение тех обетов, которые были даны им и его товарищами, в ознаменование столь блистательного успеха, уведомил своих судей, в чем они состояли. Не сказав больше ни слова, ничего не оспаривая и ни о чем не прося, он мужественно твердой походкой направился к месту казни. Через несколько лет, однако судьба при сходных обстоятельствах отомстила афинянам. Хабрий, главнокомандующий афинского флота, одержав верх над Поллисом, возглавлявшим морские силы спартанцев, в сражении у острова Наксоса, упустил все преимущества этой бесспорной победы, столь существенной для афинян, только из опасения, как бы не подвергнуться столь же печатной участи, какая постигла его предшественников. И, чтобы не потерять в море несколько трупов своих убитых друзей, он позволил ускользнуть множеству живых и невредимых врагов, заставивших впоследствии дорогою ценою заплатить за этот нелепейший предрассудок.

Quaeris quo iaceas post obitum loco?
Quo non nata iacent¹.

Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем не нарушаемого покоя:

Neque sepulcrum, quo recipiatur, habeat portum corporis.
Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat a malis².

ГЛАВА IV

О ТОМ, ЧТО СТРАСТИ ДУШИ ИЗЛИВАЮТСЯ НА ВООБРАЖАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КОГДА ЕЙ НЕДОСТАЕТ НАСТОЯЩИХ

Один из наших дворян, которого мучали жесточайшие припадки подагры, когда врачи убеждали его отказаться от употребления в пищу кушаний из соленого мяса, имел обыкновение остроумно отвечать, что в разгар мучений и болей ему хочется иметь под рукой что-

¹ Ты спрашиваешь, в каком месте будешь покоиться после смерти? Там, где пойдут еще не рожденные (лат.).

² Пусть не найдет он могилы, которую был бы принят, пристанища для мертвого тела, где бы, когда жизнь человека кончилась, тело могло отдохнуть от невзгод (лат.).

нибудь, на чем он мог бы сорвать свою злость, и что, ругая и проклиная то колбасу, то бычий язык или окорок, он испытывает от этого облегчение. Но, право же, подобно тому, как мы ощущаем досаду, если, подняв для удара руку, не поражаем предмета, в который метили, и наши усилия растрачены зря, или, скажем, как для того, чтобы тот или иной пейзаж был приятен для взора, он не должен уходить до бесконечности вдаль, но нуждается на подобающем расстоянии в какой-нибудь границе, которая служила б ему опорой:

Ventus ut amittit vires, nisi robore densae
Occurrant silvae, spatio diffusus inani¹,

так же, мне кажется, и душа, потрясенная и взволнованная, бесплодно погружается в самое себя, если не занять ее чем-то внешним; нужно беспрестанно доставлять ей предметы, которые могли бы стать целью ее стремлений и направлять ее деятельность. Плутарх говорит по поводу тех, кто испытывает чрезмерно нежные чувства к собачкам и обезьянкам, что заложенная в нас потребность любить, не находя естественного выхода, создает, лишь бы не прозябать в праздности, привязанности вымышленные и вздорные. И мы видим, действительно, что душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые и сама порою не верит, чем оставаться в бездействии. Вот почему дикие звери, обезумев от ярости, набрасываются на оружие или на камень, которые ранили их, или, раздирая себя собственными зубами, пытаются выместить на себе мучающую их боль,

Pannonis haud aliter post ictum saevior ursa,
Cum iaculum parva Libys amentavit habena
Se rotat in vulnus, telumque irata receptum
Impetit, et secum fugientem circuit hastam².

Каких только причин ни придумываем мы для объяснения тех несчастий, которые с нами случаются! За что ни хватаемся мы, с основанием или без всякого основания, лишь бы было к чему придраться! Не эти светлые кудри, которые ты рвешь на себе, и не белизна этой груди, которую ты, во власти отчаянья, бьешь так беспощадно, наслали смертоносный свинец на твоего любимого брата: ищи виновных не здесь. Ливий, рассказав о скорби римского войска в

¹ И как ветер, рассеявшись в пустынном пространстве, теряет силу, если густые леса не встанут пред ним преградой (*лат.*).

² Так паннонская медведица, рассвирепев от удара копьем, которое метнул в нее с помощью короткого ремня ливиец, изгибается к ране, в ярости стремится достать вонзившийся наконечник и мечется вокруг древка, убегающего вместе с нею (*лат.*).

Испании по случаю гибели двух прославленных братьев, его полководцев, добавляет: *Fleat omnes repente et offensare capita*¹. Таков общераспространенный обычай. И разве не остроумно сказал философ Бион о царе, который в отчаянии рвал на себе волосы: «Этот человек, кажется, думает, что плешь облегчит его скорбь». Кому из нас не случилось видеть, как жуют и глотают карты, как кусают игральную кость, чтобы выместить хоть на чем-нибудь свой проигрыш? Ксеркс велел высечь море — Геллеспонт и наложить на него цепи, он обрушил на него поток брани и послал горе Афон вызов на поединок. Кир на несколько дней задержал целое войско, чтобы отомстить реке Гинд за страх, испытанный им при переправе через нее. Калигула распорядился снести до основания прекрасный во всех отношениях дом из-за тех огорчений, которые претерпела в нем его мать.

В молодости я слышал о короле одной из соседних стран, который, получив от Бога славную трепку, поклялся отомстить за нее; он приказал, чтобы десять лет сряду в его стране не молились Богу, не вспоминали о нем и, пока этот король держит в своих руках власть, даже не верили в Него. Этим рассказом подчеркивалась не столько вздорность, сколько бахвальство того народа, о котором шла речь: оба эти порока связаны неразрывными узами, но в подобных поступках проявляется, по правде говоря, больше заносчивости, нежели глупости.

Император Август, претерпев жестокую бурю на море, разгневался на бога Нептуна и, чтобы отомстить ему, приказал на время праздничных игр в цирке убрать его статую, стоявшую среди изображений прочих богов. В этом его можно извинить еще меньше, чем всех предыдущих, и все же этот поступок Августа более простителен, чем то, что случилось впоследствии. Когда до него дошла весть о поражении, понесенном его полководцем Квинтилием Варом в Германии, он стал биться в ярости и отчаянье головою о стену, без конца выкрикивая одно и то же: «О Вар, отдай мне мои легионы!» Но наибольшее безумие — ведь тут примешивается еще и кощунство, — постигает тех, кто обращается непосредственно к Богу или судьбе, словно она может услышать нашу словесную пальбу; они уподобляются в этом фракийцам, которые, когда сверкает молния или гремит гром, вступают в титаническую борьбу с небом, стремясь тучею стрел образумить разъяренного бога. Итак, как говорит древний поэт у Плутарха:

Когда ты в ярости судьбу ругаешь,
Ты этим только воздух сотрясаешь.

Впрочем, мы никогда не кончим, если захотим высказать все, что можно, в осуждение человеческой несдержанности.

¹ Все тотчас же принялись рыдать и бить себя по голове (*лат.*).

ГЛАВА V

ВПРАВЕ ЛИ КОМЕНДАНТ ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ
ВЫХОДИТЬ ИЗ НЕЕ
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРОТИВНИКОМ?

Луций Марций, римский легат, во время войны с Персеем, царем македонским, стремясь выиграть время, чтобы привести в боевую готовность свое войско, затеял переговоры о мире, и царь, обманутый ими, заключил перемирие на несколько дней, предоставив, таким образом, неприятелю возможность и время вооружиться и подготовиться, что и повело к окончательному разгрому Персея. Но случилось так, что старцы-сенаторы, еще хранившие в памяти нравы своих отцов, осудили действия Марция как противоречащие древним установлениям, которые заключались, по их словам, в том, чтобы побеждать доблестью, а не хитростью, не засадами и не ночными схватками, не притворным бегством и неожиданным ударом по неприятелю, а также не начиная войны прежде ее объявления, но, напротив, зачастую оповещая заранее о часе и месте предстоящей битвы. Исходя из этого, они выдали Пирру его врача, задумавшего предать его, а фалискам — их злонамеренного учителя. Это были правила подлинно римские, не имеющие ничего общего с греческой изворотливостью и пуническим вероломством, у каковых народов считалось, что меньше чести и славы в том, чтобы побеждать силою, а не хитростью и уловками. Обман, по мнению этих сенаторов, может увенчаться успехом в отдельных случаях, но победенным считает себя лишь тот, кто уверен, что его одолели не хитростью и не благодаря случайным обстоятельствам, а воинской доблестью, в прямой схватке лицом к лицу на войне, которая протекала в соответствии с установленными законами и с соблюдением принятых правил. По речам этих славных людей ясно видно, что им еще не было известно нижеследующее премудрое изречение:

*dolus an virtus quis in hoste requirat?*¹

Ахейцы, рассказывает Полибий, презирали обман и никогда не прибегали к нему на войне; они ценили победу только тогда, когда им удавалось сломить мужество и сопротивление неприятеля. *Eam vir sanctus et sapiens sciet veram esse victoriam, quae salva fide et integra dignitate parabitur*², — говорит другой римский автор.

¹ Не все ли равно, хитростью или доблестью победил ты врага? (*лат.*).

² Муж праведный и мудрый сочтет истинной только ту победу, которую доставит безупречная честность и незапятнанное достоинство (*лат.*).

Vos ne velit an me regnare hera quidve ferat fors
Virtute experiamur¹.

В царстве тернатском, именуемом нами с легкой душою варварским, общепринятые обычаи запрещают идти войною, не объявив ее предварительно и не сообщив врагу полного перечня всех сил и средств, которые будут применены в этой войне, а именно, сколько у тебя воинов, каково их снаряжение, а также оборонительное и наступательное оружие. Однако, если, невзирая на это, неприятель не уступает и не идет на мирное разрешение спора, они не останавливаются ни перед чем и, полагают, что в этом случае никто не имеет права упрекать их в предательстве, вероломстве, хитрости и всем прочем, что могло бы послужить средством к обеспечению легкой победы.

Флорентийцы в былые времена были до такой степени далеки от желания получить перевес над врагом с помощью внезапного нападения, что за месяц вперед предупреждали о выступлении своего войска, звоня в большой колокол, который назывался у них Мартинелла.

Что касается нас, которые на этот счет гораздо менее щепетильны, нас, считающих, что, кто извлек из войны выгоду, тот достоин и славы, нас, повторяющих вслед за Лисандром, что, где недостает львиной шкуры, там нужно пришить клочок лисьей, то наши воззрения ни в какой степени не осуждают общепринятых способов внезапного нападения на врага. И нет часа, говорим мы, когда военачальнику полагается быть более начеку, чем в час ведения переговоров или заключения мира. Поэтому для всякого теперешнего воина непреложно правило, по которому комендант осажденной крепости не должен ни при каких обстоятельствах выходить из нее для переговоров с неприятелем. Во времена наших отцов в нарушении этого правила упрекали господ де Монмора и де Л'Ассины, защищавших Музон от графа Нассауского.

Но бывает и так, что нарушение этого правила имеет свое оправдание. Так, например, оно извинительно для того, кто выходит из крепости, обеспечив себе безопасность и преимущество, как это сделал граф Гвидо ди Рангоне (если прав Дю Белле, ибо, по словам Гвиччардини, это был не кто иной, как он сам) в городе Реджо, когда встретился с господином де Л'Экю для ведения переговоров. Он остановился на таком незначительном расстоянии от крепостных стен, что, когда во время переговоров вспыхнула ссора и противники взяли за оружие, господин де Л'Экю и прибывшие с ним не только оказались более слабою стороною, — ведь тогда-то и был убит Алес-

¹ Испытаем же доблестью, вам или мне назначила властвовать всемогущая судьба, и что она несет (*лат.*).

сандро Тривульцио, — но и самому господину де Л'Экю пришлось, доверившись графу на слово, последовать за ним в крепость, чтобы укрыться от угрожавшей ему опасности.

Антигон, осадив Евмена в городе Нора, настойчиво предлагал ему выйти из крепости для ведения переговоров. В числе разных доводов в пользу своего предложения он привел также следующий: Эвмену, мол, надлежит предстать перед ним потому, что он, Антигон, более велик и могуществен, на что Евмен дал следующий достойный ответ: «Пока у меня в руках меч, нет человека, которого я мог бы признать выше себя». И он согласился на предложение Антигона не раньше, чем тот, уступив его требованиям, отдал ему в заложники своего племянника Птолея.

Впрочем, попадают и такие военачальники, которые имеют основание думать, что они поступили правильно, доверившись слову осаждающих и выйдя из крепости. В качестве примера можно привести историю Анри де Во, рыцаря из Шампани, осажденного англичанами в замке Коммерси. Бертелеми де Бонн, начальствовавший над осаждавшими, подвел подкоп под большую часть этого замка, так что оставалось только поднести огонь к запалу, чтобы похоронить осажденных под развалинами, после чего предложил вышеназванному Анри выйти из крепости и вступить с ним в переговоры, убеждая его, что это будет к его же благу, в доказательство чего и открыл ему свои козыри. После того как рыцарь Анри воочию убедился, что его ожидает неотвратимая гибель, он проникся чувством глубокой признательности к своему врагу и сдался со всеми своими солдатами на милость победителя. В подкопе был устроен взрыв, деревянные подпоры рухнули, замок был уничтожен до основания.

Я склонен оказывать доверие людям, но я обнаружил бы это пред всеми с большой неохотой, если бы мое поведение подавало кому-нибудь повод считать, что меня побуждают к нему отчаяние и малодушие, а не душевная прямота и вера в людскую честность.

ГЛАВА VI

ЧАС ПЕРЕГОВОРОВ — ОПАСНЫЙ ЧАС

Надо сказать, что не так давно я наблюдал в городе Мюссидане, находящемся по соседству со мной, как те, кто был выбит оттуда нашей армией, а также приверженцы их жаловались на предательство, ибо во время переговоров, условившись о перемирии, они подверглись внезапному нападению и были разбиты наголову. Подобная жалоба в другой век могла бы, пожалуй, вызвать сочувствие. Но, как я говорил выше, наши обычаи не имеют больше ничего общего с пра-

вилами былых времен. Вот почему не следует доверять друг другу, пока договор не скреплен последней печатью; да и при наличии этого, чего не случается!

Никогда, впрочем, нельзя с уверенностью рассчитывать, что победоносное войско станет соблюдать обязательства, которые дарованы победителем городу, сдавшемуся на сравнительно мягких и милостивых условиях и согласившемуся впустить еще разгоряченных боем солдат. Луций Эмилий Регилл, римский претор, потеряв время в бесплодных попытках захватить силою город фокейцев, ибо жители его защищались с поразительной отвагой, пошел, в конце концов, с ними на соглашение, по которому он принимал их под свою руку в качестве «друзей римского народа» и должен был вступить в их город, как в город союзников. Этим он окончательно рассеял их опасения насчет возможности каких-либо враждебных действий со стороны победителей. Но, когда они вошли в город — ибо Эмилий, желая показать себя во всем блеске, ввел туда все свое войско, — усилия, которые он прилагал, чтобы держать их в узде, оказались напрасными, и значительная часть города была разгромлена у него на глазах: жажда пограбить и отомстить поборола в них уважение к его власти и привычку повиноваться.

Клеомен имел обыкновение говорить, что, каковы бы ни были злодеяния, совершаемые во время войны в отношении неприятеля, они выходят за пределы правосудия и не подчиняются его приговорам — за них не судят ни боги, ни люди. Договорившись с аргивянами о перемирии на семь дней, он напал на них уже в третью ночь, когда их лагерь был погружен в сон, и нанес им жесточайшее поражение, ссылаясь в дальнейшем на то, что в его договоре о перемирии ни словом не упоминается о ночах. Боги, однако, покарали его за это изощренное вероломство.

Жители города Казилина, беспечно полагаясь на свою безопасность, подверглись во время переговоров внезапному нападению, и это произошло в век наисправедливейших и благороднейших полководцев превосходного во всех отношениях римского войска. В самом деле, нигде ведь не сказано, что нам не дозволено в подобающем месте и в подобающий час воспользоваться глупостью неприятеля, подобно тому, как мы извлекаем для себя выгоду из его трусости. Война, естественно, имеет множество привилегий, которые в условиях военных действий совершенно разумны, вопреки нашему разуму; здесь не соблюдают правила: *neminem id agere, ut ex alterius praedetur incitiam*¹.

Меня поражает, однако, та безграничность, какую допускает в от-

¹ Никто не должен извлекать выгоду из неразумии другого (*лат.*).

ношении отмеченных привилегий такой автор, как Ксенофонт, о чем свидетельствуют и речи и деяния его якобы совершенного самодержца; а ведь в подобных вопросах это — писатель, обладающий исключительным весом, ибо он — прославленный полководец и философ из числа ближайших учеников Сократа. Далеко не всегда и не во всем я могу согласиться с его чрезмерно широкими, по-моему, взглядами на этот предмет.

Господин д'Обиньи, обложив осадою Капую, подверг ее жесточайшей бомбардировке, после чего сеньор Фабрицио Колонна, комендант города, стоя на стене бастиона, начал переговоры о сдаче, и, так как его солдаты утратили бдительность, наши ворвались в крепость и не оставили в ней камня на камне. А вот еще более свежий в нашей памяти случай. Сеньор Джулиано Роммеро допустил в Ивуа большой промах: он вышел из крепости для ведения переговоров с коннетаблем — и что же? — возвращаясь назад, обнаружил, что она захвачена неприятелем. Я расскажу еще об одном событии, дабы показать, что порою и мы оставались в накладе: маркиз Пескарский осаждал Геную, где начальствовал покровительствуемый нами герцог Оттавиано Фрегозо; переговоры между обоими военачальниками шли настолько успешно, что соглашение между ними считалось уже делом решенным. Однако в момент их завершения испанцы проникли в город и стали распоряжаться в нем, словно и в самом деле одержали решительную победу. И впоследствии также город Линьи в Барруа, где начальствовал граф де Бриенн, а осадою руководил сам император, был захвачен в то самое время, когда уполномоченный вышеназванного графа — Бертейль, выйдя за пределы крепостных стен ради переговоров, вел их с представителями противника.

Fu il vincer sempre mai laudabil cosa,
Vincasi o per fortuna o per ingegno¹, —

так, по крайней мере, принято говорить. Впрочем, философ Хрисипп не разделял этого мнения, и я также далек от того, чтобы признать его до конца справедливым. Он говорил, что соревнующиеся в беге должны приложить все свои силы, чтобы опередить остальных; но при этом им никоим образом не разрешается хватать рукою соперника, тем самым задерживая его, или подставлять ему ногу, чтобы он упал.

И еще благороднее ответ великого Александра Полиперхонту, который советовал воспользоваться ночной темнотой для неожиданного нападения на войска Дария. «Не в моих правилах, — сказал

¹ Победа всегда заслуживает похвалы, все равно, достигнута ли она случайно или благодаря искусству (*ит.*).

Александр, — одерживать уворованную победу» — *Malo me fortunae poeniteat, quam victoriae pudeat*¹.

Atque idem fugientem haud est dignatus Orodem
Sternere, nec iacta caecum dare cuspidе vulnus;
Obvius, adversoque occurrit, seque viro vir
Contulit, haud furto melior, sed fortibus armis².

ГЛАВА VII

О ТОМ, ЧТО НАШИ НАМЕРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СУДЬЯМИ НАШИХ ПОСТУПКОВ

Говорят, что смерть освобождает нас от любых обязательств. Я знаю, что эти слова толковали по-разному. Генрих VII, король Англии, заключил соглашение с доном Филиппом, сыном императора Максимилиана, или — чтобы придать его имени еще больший блеск — отцом императора Карла V, в том, что вышеупомянутый Филипп передаст в его руки герцога Саффолка, его врага из партии Белой Розы, бежавшего из пределов Англии и нашедшего убежище в Нидерландах, при условии, что он, Генрих, обязуется не посягать на жизнь этого герцога. Тем не менее, уже будучи на смертном одре, он велел своему сыну в оставленном им завещании немедленно после его кончины умертвить герцога Саффолка. Недавняя трагедия в Брюсселе, которая была явлена нам герцогом Альбой и героями которой были несчастные графы Горн и Эгмонт, заключает в себе много такого, что заслуживает внимания. Так, например, граф Эгмонт, уговоривший своего товарища графа Горна отдаться в руки герцогу Альбе и уверивший его в безопасности этого шага, настойчиво домогался умереть первым; он хотел, чтобы смерть сняла с него обязательство, которым он связал себя по отношению к графу Горну. Но ясно, что в первом из рассказанных случаев смерть не освобождала от данного слова, тогда как во втором обязательство не имело никакой силы, даже если бы принявший его на себя и не умирал. Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей. И поскольку последствия и даже самое выполнение обещания вне нашей власти, то распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей: она-то и является неизбежно единственной основой и ме-

¹ Я предпочитаю сетовать на свою судьбу, чем стыдиться победы (*лат.*).

² Тот же [Мезенций] не счел достойным сразить убегающего Орода и, метнув копье, нанести ему удар в спину; он мчится навстречу и, оказавшись перед ним, сходится с ним, как муж с мужем, превосходя не с помощью уловки, а смелостью в бою (*лат.*).

рилом человеческого долга. Вот почему граф Эгмонт, и душою и разумом сохранявший верность данному им обещанию, хотя не имел никакой возможности его исполнить, без сомнения был бы освобожден от своего обязательства, если бы даже и пережил графа Горна. Но бесчестность английского короля, намеренно нарушившего свое слово, никоим образом не может найти себе оправдание в том, что он отложил казнь герцога до своей смерти; равным образом, нет оправдания и тому каменщику у Геродота, который, соблюдая с безупречною честностью в течение всей своей жизни тайну сокровищ египетского царя, своего владыки, умирая, открыл ее своим детям.

Я видел на своем веку немало таких людей, которые, хотя совесть и уличала их в том, что они утаивают чужое имущество, тем не менее легко мирились с этим, рассчитывая удовлетворить законных владельцев после своей кончины, путем завешания. Такой образ действий ни в коем случае нельзя оправдать: плохо и то, что они откладывают столь срочное дело, и то, что они желают возместить причиненный ими убыток ценою столь малых усилий и столь мало поступаясь своей выгодой. Право, им надлежало бы поделиться тем, что им взаправду принадлежит. Чем тяжелее им было бы заплатить, чем больше трудностей пришлось бы в связи с этим преодолеть, тем справедливее было бы такое возмещение и тем больше было бы им заслуги. Раскаяние требует жертв.

Еще хуже поступают те, которые в течение всей своей жизни таят злобу к кому-нибудь из своих ближних, выражая ее лишь в последнем изъятии своей воли. Возбуждая в обиженном неприязнь к их памяти, они показывают тем самым, что мало пекутся о своей чести и еще меньше о совести, ибо не хотят угасить в себе злобного чувства хотя бы из уважения к смерти и оставляют его жить после себя. Они подобны тем неправедным судьям, которые без конца откладывают свой приговор и выносят его лишь тогда, когда ими уже утрачено всякое представление о сути самого дела.

Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь.

ГЛАВА VIII

О ПРАЗДНОСТИ

Как пустующая земля, если она жирна и плодородна, зарастает тысячами видов сорных и бесполезных трав и, чтобы заставить ее служить в наших целях, необходимо сначала подвергнуть ее обработке и засеять определенными семенами; как женщины сами собою в состоянии производить лишь бесформенные груды и комки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое по-

томство, их необходимо снабдить семенем со стороны, — так же и с нашим умом. Если не занять его определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям воображения:

Sicut aquae tremulum labris ubi lumen ahenis
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunae
Omnia pervolitat late loca, iamque sub auras
Erigitur, summique ferit laquearia tecti¹.

И нет такого безумия, таких бредней, которых не порождает бы наш ум, пребывая в таком возбуждении,

velut aegri somnia, vanae
Finguntur species².

Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель, ибо, как говорится, кто везде, тот нигде:

Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat³.

Уединившись с недавнего времени у себя дома, я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большего благоденствия, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою, сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легче достигнуть этого, так как с годами он сделался более положительным, более зрелым. Но я нахожу, что

variam semper dant otia mentem⁴

и что, напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю конь, задает себе во сто раз больше работы, чем прежде, когда он делал ее для других. И, действительно, ум мой порождает столько беспорядочно громождающихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдит.

¹ Подобно тому, как трепещущая поверхность воды в медном сосуде, отражая солнце или сияющий лик луны, посылает отблеск, который порхает повсюду, поднимается ввысь и касается резьбы на высоком потолке (*лат.*).

² Подобные сновидениям больного, создаются бессмысленные образы (*лат.*).

³ Кто всюду живет, Максим, тот нигде не живет (*лат.*).

⁴ Праздность порождает в душе неуверенность (*лат.*).

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА I

О НЕПОСТОЯНСТВЕ НАШИХ ПОСТУПКОВ

Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Марий Младший в одних случаях выступал как сын Марса, в других — как сын Венеры. Папа Бонифаций VIII, как говорят, вступая на папский престол, вел себя лисой, став папой, выказал себя львом, а умер как собака. А кто поверит, что Нерон — это подлинное воплощение человеческой жестокости, — когда ему дали подписать, как полагалось, смертный приговор одному преступнику, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать!» — так у него сжалось сердце при мысли осудить человека на смерть. Подобных примеров великое множество, и каждый из нас может привести их сколько угодно; поэтому мне кажется странным, когда разумные люди пытаются иногда мерить все человеческие поступки одним аршином, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и явным недостатком нашей природы, свидетельством может служить известный стих насмешника Публилия:

*Malum consilium est, quod mutari non potest*¹.

Есть некоторое основание составлять себе суждение о человеке по наиболее обычным для него чертам поведения в жизни; но, принимая во внимание естественное непостоянство наших обычаев и взглядов, мне часто казалось, что напрасно даже лучшие авторы упорствуют, стараясь представить нас постоянными и устойчивыми. Они создают некий обобщенный образ и, исходя затем из него, подгоняют под него и истолковывают все поступки данного лица, а когда его поступки не укладываются в эти рамки, они отмечают все отступления от них. С Августом, однако, у них дело не вышло, ибо у этого человека было такое явное, неожиданное и постоянное сочетание самых разнообразных поступков в течение всей его жизни, что даже самые смелые судьи вынуждены были признать его лишенным цель-

¹ Плохо то решение, которого нельзя изменить (*лат.*).

ности, неодинаковым и неопределенным. Мне труднее всего представить себе в людях постоянство и легче всего — непостоянство. Чаще всего окажется прав в своих суждениях тот, кто вникнет во все детали и разберет один за другим каждый поступок.

На протяжении всей древней истории не найдешь и десятка людей, которые подчинили бы свою жизнь определенному и установленному плану, что является главной целью мудрости. Ибо, как говорит один древний автор, если пожелать выразить единым словом и свести к одному все правила нашей жизни, то придется сказать, что мудрость — это «всегда желать и всегда не желать той же самой вещи». «Я не считаю нужным, — говорил он, — прибавлять к этому: лишь бы желание это было справедливым, так как, если бы оно не было таковым, оно не могло бы быть всегда одним и тем же». Действительно, я давно убедился, что порок есть не что иное, как нарушение порядка и отсутствие меры, и, следовательно, исключает постоянство. Передают, будто Демосфен говорил, что «началом всякой добродетели является взвешивание и размышление, а конечной целью и увенчанием ее — постоянство». Если бы мы выбирали определенный путь по зрелом размышлении, то мы выбрали бы наилучший, но никто не думает об этом:

Quod petiit spernit; repetit, quod nuper omisit;
Aestuat, et vitae disconvenit ordine toto¹.

Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы отвергаем только что принятое решение, потом опять возвращаемся к оставленному пути; это какое-то непрерывное колебание и непостоянство:

Ducimur, ut nervis alienis mobile lignum².

Мы не идем — нас несет, подобно предметам, подхваченным течением реки, — то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива:

nonne videmus
Quid sibi quisque velit nescire, et quaerere semper
Commutare locum, quasi onus deponere possit³.

¹ Он уже гнушается тем, чего добился, и вновь стремится к тому, что недавно отверг: он мечется, нарушая весь порядок своей жизни (*лат.*).

² Как кукла, которую за ниточку движут другие (*лат.*).

³ Не видим ли мы, что человек сам не знает, чего он хочет, и постоянно ищет перемены мест, как если бы это могло избавить его от бремени (*лат.*).

Каждый день нам на ум приходит нечто новое, и наши настроения меняются вместе с течением времени:

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Iuppiter auctifero lustravit lumine terras¹.

Мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного. В жизни того, кто предписал бы себе и установил бы для себя в душе определенные законы и определенное поведение, должно было бы наблюдаться единство нравов, порядок и неукоснительное подчинение одних вещей другим.

Эмпедокл обратил внимание на одну странность в характере агригентцев: они предавались наслаждениям так, как если бы им предстояло завтра умереть, и в то же время строили такие дома, как если бы им предстояло жить вечно.

Судить о некоторых людях очень легко. Взять, к примеру, Катона Младшего: тут тронь одну клавишу — и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе. А что до нас самих, тут все наоборот: сколько поступков, столько же требуется и суждений о каждом из них. На мой взгляд, вернее всего было бы объяснять наши поступки окружающей средой, не вдаваясь в тщательное расследование причин и не выводя отсюда других умозаключений.

Во время неурядиц в нашем несчастном отечестве случилось, как мне передавали, что одна девушка, жившая неподалеку от меня, выбросилась из окна, чтобы спастись от насилия со стороны мерзавца солдата, ее постояльца; она не убилась при падении и, чтобы довести свое намерение до конца, хотела перерезать себе горло, но ей помешали сделать это, хотя она и успела основательно себя поранить. Она потом призналась, что солдат еще только осаждал ее просьбами, уговорами и посулами, но она опасалась, что он прибегнет к насилию. И вот, как результат этого — ее крики, все ее поведение, кровь, пролитая в доказательство ее добродетели, — ни дать, ни взять вторая Лукреция. Между тем я знал, что в действительности она и до и после этого происшествия была девицей не столь уж недоступной. Как гласит присловье, «если ты, будучи тих и скромн, натолкнулся на отпор со стороны женщины, не торопись делать из этого вывод о ее неприступности: придет час — и погонщик мулов свое получит».

Антигон, которому один из его солдат полюбился за храбрость и

¹ Мысли людей меняются так же, как и плодоносные дни, которыми сам отец Юпитер освятил земли (*лат.*).

добродетель, приказал своим врачам вылечить его от болезни, которая давно его мучила. Заметив, что после выздоровления в нем прибавилось бранного пыла, Антигон спросил его, почему он так изменился и утратил мужество. «Ты сам, государь, тому причиной, — ответил солдат, — ибо избавил меня от страданий, из-за которых мне жизнь была не мила». Один из солдат Лукулла был ограблен кучкой вражеских воинов и, пылая мстью, совершил смелое и успешное нападение на них. Когда солдат вознаградил себя за потерю, Лукулл, оценив его храбрость, захотел использовать его в одном задуманном им смелом деле и стал уговаривать его, соблазняя самыми заманчивыми обещаниями, какие он только мог придумать:

Verbis quae timido quoque possent addere mentem¹.

«Поручи это дело, — ответил тот, — какому-нибудь бедняге, обчищенному ими»:

quantumvis rusticus: Ibit,
Ibit eo, quo vis, qui zonam perdidit, inquit²,

и наотрез отказался.

Сообщают, что Мехмед однажды резко обрушился на предводителя своих янычар Гасана за то, что тот допустил, чтобы венгры обратили в бегство его отряд, и трусливо вел себя в сражении. В ответ на это Гасан, не промолвив ни слова, яростно бросился один, как был с оружием в руках, на первый попавшийся отряд неприятеля и был тотчас же изрублен. Это было не столько попыткой оправдаться, сколько переменою чувств, и говорило не столько о природной доблести, сколько о новом взрыве отчаяния.

Пусть не покажется вам странным, что тот, кого вы видели вчера беззаветно смелым, завтра окажется низким трусом; гнев или нужда в чем-нибудь, или какая-нибудь дружеская компания, или выпитое вино, или звук трубы заставили его сердце уйти в пятки. Ведь речь здесь идет не о чувствах, порожденных рассудком и размышлением, а о чувствах, вызванных обстоятельствами. Что удивительного, если человек этот стал иным при иных, противоположных обстоятельствах?

Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других — что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна — к добру, другая — ко злу, ибо резкий переход от одной крайности к другой не может быть объ-

¹ Со словами, которые и трусу могли бы прибавить духу (*лат.*).

² С присущей ему грубоватостью ответил: пойдет куда хочешь тот, кто потерял свой кушак с деньгами (*лат.*).

яснен иначе. Однако не только случайности заставляют меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, кроме того, меняюсь по присущей мне внутренней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее обращаю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек зрения. Тут словно бы чередуются все заключенные во мне противоположные начала. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность. Все это в той или иной степени я в себе нахожу в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе просто, цельно и основательно, я не могу определить себя единым словом, без сочетания противоположностей. *Distinguo*¹ — такова постоянная предпосылка моего логического мышления.

Должен сказать при этом, что я всегда склонен говорить о добром доброе и толковать скорее в хорошую сторону вещи, которые могут быть таковыми, хотя, в силу свойств нашей природы, нередко сам порок толкает нас на добрые дела, если только не судить о доброте наших дел исключительно по нашим намерениям. Вот почему смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всех обстоятельствах. Если бы это было проявлением врожденной добродетели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится среди людей; как во время поединка, так и в сражении; ибо, что бы там ни говорили, нет одной храбрости на уличной мостовой и другой на поле боя. Он будет так же стойко переносить болезнь в постели, как и ранение на поле битвы, и не будет бояться смерти дома больше, чем при штурме крепости. Не бывает, чтобы один и тот же человек смело кидался в брешь, а потом плакался бы, как женщина, проиграв судебный процесс или потеряв сына.

Когда человек, падающий духом от оскорбления, в то же время стойко переносит бедность, или боящийся бритвы цирюльника об-

¹ Я различаю (*лат.*).

наруживает твердость перед мечом врага, то достойно похвалы деяние, а не сам человек.

Многие греки, говорит Цицерон, не выносят вида врагов и стойко переносят болезни; и как раз обратное наблюдается у кимвров и кельтиберов. *Nihil enim potest esse aequabile, quod non a certa ratione proficiscatur*¹.

Нет высшей храбрости в своем роде, чем храбрость Александра Македонского, но и она — храбрость лишь особого рода, не всегда себе равная и всеобъемлющая. Как бы несравненна она ни была, на ней все же есть пятна. Так, мы знаем, что он совсем терял голову при самых туманных подозрениях, возникавших у него относительно козней его приверженцев, якобы покушавшихся на его жизнь; мы знаем, с каким неистовством и откровенным пристрастием он бросался на расследование этого дела, объятый страхом, мутившим его природный разум. И то суеверие, которому он так сильно поддавался, тоже носит характер известного малодушия. Его чрезмерное раскаяние в убийстве Клита тоже говорит за то, что его храбрость не всегда была одинакова.

Наши поступки — не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия (*voluptatem contemnunt, in dolore sunt molliores; gloriam negligunt, franguntur infamia*²), и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит только вместе с тканью. Вот почему, чтобы судить о человеке, надо долго и внимательно следить за ним: если постоянство ему несвойственно (*cui vivendi via considerate atque provisata est*³), если он, в зависимости от разнообразных случайностей, меняет путь (я имею в виду именно путь, ибо шаги можно ускорять или, наоборот, замедлять), предоставьте его самому себе — он будет плыть по воле волн, как гласит поговорка нашего Тальбота.

Неудивительно, говорит один древний автор, что случай имеет над нами такую огромную власть: ведь то, что мы живем, — тоже случайность. Тот, кто не поставил себе в жизни определенной цели, не может наметить себе и отдельных действий. Тот, кто не имеет представления о целом, не может распределить и частей. Зачем палитра тому, кто не знает, что делать с красками? Никто не строит цельных планов на всю жизнь; мы обдумываем эти планы лишь по частям.

¹ Не может быть однородным то, что не вытекает из одной определенной причины (*лат.*).

² Брезгают наслаждением, но поддаются горию; презируют славу, но не выносят бесчестия (*лат.*).

³ Тот, кто размышлял над своим образом жизни и предусмотрел его (*лат.*).

Стрелок прежде всего должен знать свою мишень, а затем уже он приспособливает к ней свою руку, лук, стрелу, все свои движения. Наши намерения меняются, так как они не имеют одной цели и назначения. Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Я не согласен с тем решением, которое было вынесено судом относительно Софокла и которое, вопреки иску его сына, признавало Софокла способным к управлению своими домашними делами на основании только одной его прослушанной судьями трагедии.

Я не нахожу также, что паросцы посланные положить конец неурядицам милетян, сделали правильный вывод из их наблюдений. Прибыв в Милет, они обратили внимание на то, что некоторые поля лучше обработаны и некоторые хозяйства ведутся лучше, чем другие; они записали имена хозяев этих полей и хозяйств и, созвав народное собрание, объявили, что вручают этим людям управление государством, так как они считают, что эти хозяева будут так же заботиться об общественном достоянии, как они заботились о своем собственном.

Мы все лишены цельности и скроены из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. *Magnam rem puta unum hominem agere*¹. Так как честолюбие может внушить людям и храбрость, и уверенность, и щедрость, и даже иногда справедливость; так как жадность способна пробудить в мальчике — подручном из лавочки, выросшем в бедности и безделье, смелую уверенность в своих силах и заставить его покинуть отчий дом и плыть в утло суденышке, отдавшись воле волн разгневанного Нептуна, и в то же время жадность способна научить скромности и осмотрительности; так как сама Венера порождает смелость и решимость в юношах, еще сидящих на школьной скамье, и укрепляет нежные сердца девушек, охраняемых своими матерями, —

*Нас duce, custodes furtim transgressa iacentes
Ad iuvenem tenebris sola puella venit*²,

то не дело зрелого разума судить о нас поверхностно лишь по нашим доступным обозрению поступкам. Следует поискать внутри нас, проникнув до самых глубин, и установить, от каких толчков исходит движение; однако, принимая во внимание, что это дело сложное и рискованное, я хотел бы, чтобы как можно меньше людей занимались этим.

¹ Знай: великое дело играть одну и ту же роль (*лат.*).

² Под ее [Венеры] водительством юная девушка, крадучись мимо уснувших хранителей, ночью одна пробирается к своему возлюбленному (*лат.*).

ГЛАВА II

О ПЬЯНСТВЕ

Мир — не что иное, как бесконечное разнообразие и несходство. Все пороки совершенно сходны между собой в том, что они пороки, и именно так их и толкуют стоики. Но хотя все они равно пороки, они пороки не в равной мере. Трудно допустить, чтобы тот, кто преступил установленную границу на сто шагов, —

Quos ultra citraque nequit consistere rectum¹, —

не был более тяжким преступником, чем тот, кто преступил ее на десять; или что совершить святотатство не хуже, чем украсть на огороде кочан капусты:

Ne vincet ratio, tantundem ut peccet idemque
Qui teneros caules alieni fregerit horti,
Et qui nocturnus divum sacra legerit².

Во всех этих проступках столько же различий, сколько и в любом другом деле.

Очень опасно не различать характер и степень прегрешения. Это было бы весьма выгодно убийцам, предателям, тиранам. Не следует, чтобы их совесть испытывала облегчение от сознания, что такой-то вот человек лентяй, или похотлив, или недостаточно набожен. Всякий склонен подчеркивать тяжесть прегрешений своего ближнего и преуменьшать свой собственный грех. На мой взгляд, даже судьи часто неправильно оценивают их.

Сократ говорил, что главная задача мудрости в том, чтобы различать добро и зло; то же самое и мы, в чьих глазах нет безгрешных, должны сказать об умении различать пороки, ибо без этого точного знания нельзя отличить добродетельного человека от злодея.

Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особенно грубым и низменным. В других пороках больше участвует ум; существуют даже пороки, в которых, если можно так выразиться, имеется оттенок благородства. Есть пороки, связанные со знанием, с усердием, с храбростью, с пронизательностью, с ловкостью и хитростью; но что касается пьянства, то это порок насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существ-

¹ Дальше и ближе которых [этих пределов] не может быть справедливого (*лат.*).

² Разумом нельзя доказать, что переломать молодые кочаны капусты на чужом огороде такое же преступление, как и ограбить ночью храм (*лат.*).

вующих народов — тот, у которого особенно распространен этот порок. Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его и поражает тело:

cum vim vis penetravit
 Consequitur gravitas membrorum, praepediuntur
 Crura vacillanti, tardescit lingua, madet mens,
 Nant oculi; clamor, singultus, iurgia gliscunt¹.

Наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать себя и владеть собой.

По поводу пьяных среди прочего говорят, что подобно тому, как при кипячении вся муть со дна поднимается на поверхность, точно так же те, кто хватил лишнего, под влиянием винных паров выбалтывают самые сокровенные тайны:

tu sapientium
 Curas et arcanum iocoso.
 Consilium retegis Lyaeo².

Иосиф рассказывает, что, напоив направленного к нему неприятелем посла, он выведал у него важные тайны. Однако Август, доверившись в самых сокровенных своих делах завоевателю Фракии Луцию Пизону, ни разу не просчитался, как равным образом и Тиберий с Коссом, которому он открывал все свои планы; между тем известно, что оба они были столь привержены к вину, что их нередко приходилось уносить из сената совсем упившимися:

Hesterno inflatum venas de more Lyaeo³.

И ведь не побоялись же заговорщики посвятить Цимбра, который часто напивался, в свой замысел убить Цезаря, как они посвятили в него Кассия, который пил только воду. Цимбр по этому поводу весело сострил: «Мне ли носить в себе тайну о тиране, — ведь я даже вино переносу плохо!» Известно также, что немецкие солдаты, действующие во Франции, даже напившись до положения риз, никогда не забывают, однако, ни о том, в каком полку числятся, ни о своем пароле, ни о своем чине:

¹ Когда вино окажет свое действие на человека, все тело его отяжелеет, начнут спотыкаться ноги, заплетаться язык, затуманится разум, глаза станут блуждать, и поднимутся, все усиливаясь, крики, брань, икота (*лат.*).

² Твое веселое вино, амфора, раскроет думы мудрецов и зреющие втайне замыслы (*лат.*).

³ Вены его [Силена], как обычно, вздуты вчерашним вином (*лат.*).

nec facilis victoria de madidis et
Blaesis, atque mero titubantibus¹.

Я бы не мог себе представить такого беспробудного и нескончаемого пьянства, если бы не прочел у одного историка о следующем случае. Аттал, пригласив на ужин того самого Павсания, который впоследствии, в связи с нижеописанным происшествием убил македонского царя Филиппа — царя, своими превосходными качествами доказавшего, какое прекрасное воспитание он получил в доме Эпаминонда и в его обществе, — желая нанести Павсанию чувствительное оскорбление, напоил его до такой степени, что Павсаний, совершенно не помня себя, как гуляющая девка, стал отдаваться погонщикам мулов и самым презренным слугам в доме Аттала.

Или вот еще один случай, о котором рассказала мне одна весьма уважаемая мною дама. Неподалеку от Бордо, возле Кастра, где она живет, одна деревенская женщина, вдова, славившаяся своей добродетелью, вдруг заметила у себя признаки начинающейся беременности. «Если бы у меня был муж, — сказала она соседям, — то я решила бы, что я беременна». С каждым днем подозрения относительно беременности все усиливались, и наконец дело стало явным. Тогда она попросила, чтобы с церковного амвона было оглашено, что она обещает тому, кто сознается в своем поступке, простить его и, если он захочет, выйти за него замуж. И вот один из ее молодых работников, ободренный ее заявлением, рассказал, что однажды в праздничный день он застал ее около очага погруженную после обильной выпивки в такой глубокий сон и в такой нескромной позе, что сумел овладеть ею, не разбудив ее. Они и поныне живут в честном браке.

Известно, что в древности пьянство не особенно осуждалось. Многие философы в своих сочинениях довольно мягко отзываются о нем; и даже среди стойков есть такие, которые советуют иногда выпивать, но только не слишком много, а ровно столько, сколько нужно, чтобы потешить душу:

Nos quoque virtutum quondam certamme, magnum
Socratem palmam promeruisse ferunt².

Того самого Катона, которого называли цензором и наставником, упрекали в том, что он изрядно выпивал:

¹ Хотя они захмелели, пошатываются и от вина языки их заплетаются, однако их нелегко одолеть (*лат.*).

² Говорят, что в этом состязании на доблесть пальма первенства досталась великому Сократу (*лат.*).

Narratur et prisci Catonis
Saepe mero caluisse virtus¹.

Прославленный Кир, желая показать свое превосходство над братом Артаксерксом, в числе прочих своих достоинств ссылался на то, что он умеет гораздо лучше пить, чем Артаксеркс. У самых цивилизованных и просвещенных народов очень принято было пить. Я слышал от знаменитого парижского врача Сильвия, что для того, чтобы наш желудок не ленился работать, хорошо раз в месяц дать ему встряску, выпив вина и пробудив этим его активность.

О персах пишут, что они совещались о важнейших своих делах под хмельком.

Что касается меня, то врагом этого порока является не столько мой разум, сколько мой нрав и мои вкусы. Ибо, кроме того, что я легко поддаюсь авторитетным мнениям древних авторов, я действительно нахожу, что пьянство — бессмысленный и низкий порок, однако менее злостный и вредный, чем другие, подтачивающие самые устои человеческого общества. И хотя нет, как полагают, такого удовольствия, которое мы могли бы доставить себе так, чтобы оно нам ничего не стоило, я все же нахожу, что этот порок менее отягчает нашу совесть, чем другие, не говоря уже о том, что он не требует особых ухищрений и его проще всего удовлетворить, что также должно быть принято в соображение.

Один весьма почтенный и пожилой человек говорил мне, что в число трех главных оставшихся ему в жизни удовольствий входит выпивка. Но она не шла ему впрок: в этом деле надо избегать изысканности и нельзя быть чересчур разборчивым в выборе вина. Если вы хотите получать от вина наслаждение, смиритесь с тем, что оно иногда будет вам не вкусно. Надо иметь и более грубый, и более разнообразный вкус. Кто желает быть настоящим выпивохой, должен отказаться от тонкого вкуса. Немцы, например, почти с одинаковым удовольствием пьют всякое вино. Они хотят влить в себя больше, а не лакомиться вином. Это вещь более достижимая. Удовольствие немцев в том, чтобы вина было вволю, чтобы оно было доступным. Что касается французской манеры пить, то прикладываться к бутылке дважды в день за едой, умеренно, опасаясь за здоровье, — значит лишать себя многих милостей Вакха. Тут нужно больше постоянства, больше пристрастия. Древние предавались этому занятию ночи напролет, прибавляя часто сверх того еще и дни. И, действительно, надо, чтобы обычная порция вина была и более обильной и более постоянной. Я знавал некоего сановника, на ред-

¹ Рассказывают, что доблесть древнего Катона часто подогревалась вином (*лат.*).

кость удачливого во всех своих великих начинаниях, который без труда выпивал во время своих обычных трапез не менее двадцати пинт вина и после этого становился только более пронизательным и искусным в решении сложных дел. Удовольствие, которое мы хотим познать в жизни, должно занимать в ней побольше места. Нельзя упускать ни одного представляющегося случая выпить и следует всегда помнить об этом желании, надо походить в этом отношении на рассыльных из лавки или на мастеровых. Похоже на то, что мы с каждым днем ограничиваем наше повседневное потребление вина и что раньше в наших домах, как я наблюдал в детстве, всякие угощения и возлияния были куда более частыми и обычными, чем в настоящее время. Значит ли это, что мы в каких-то отношениях идем к лучшему? Отнюдь нет! Это значит только, что мы в гораздо большей степени, чем наши отцы, ударились в распутство. Ведь невозможно предаваться с одинаковой силой и распутству, и страсти к вину. Воздержание от вина, с одной стороны, ослабляет наш желудок, а с другой — делает нас дамскими угодниками, более падкими к любовным утехам.

Какое множество рассказов довелось мне слышать от моего отца о добродетельности людей его времени! Добродетель, по его словам, как нельзя более соответствовала нравам тогдашних дам. Отец мой говорил мало и очень складно, уснащая свою речь некоторыми выражениями не из древних, а из новых авторов, в особенности из испанских; из испанских книг его излюбленной было сочинение, обычно именуемое у испанцев «Марком Аврелием». Он держался с приятным достоинством, полным скромности и смирения. На нем лежал особый отпечаток честности и порядочности; он проявлял большую тщательность в одежде как обычного рода, так и для верховой езды. Он был поразительно верен своему слову, а в отношении религиозных убеждений скорее склонен был к суеверию, чем к другой крайности. Он был небольшого роста, но полон сил, имел хорошую выправку и был прекрасно сложен. У него было приятное смугловатое лицо. Он был ловок и искусен во всякого рода физических упражнениях. Я еще застал палки со свинцовым грузом, которые, как мне передавали, служили ему для упражнения рук при подготовке к игре в городки или фехтованию, и ботинки со свинцовыми набойками, в которых легче было бегать и прыгать. С самых ранних лет в моей памяти с ним связаны маленькие чудеса. Когда ему было уже за шестьдесят, мне не раз приходилось видеть, как он, посмеиваясь над нашей неловкостью, вскакивал в своем меховом плаще на коня, как он перепрыгивал через стол или как он, поднимаясь по лестнице в свою комнату, всегда перескакивал через три или четыре ступеньки. Он утверждал, что во всей нашей области вряд ли можно было найти хоть одну благородную женщину, которая пользовалась

бы дурной славой, и рассказывал о приключавшихся с ним случаях удивительной близости с почтенными женщинами, случаях, не вызывавших никаких сомнений в его безупречном поведении. Он клялся, что до самой своей женитьбы был девственником. Он провёл многие годы в Италии, участвуя в итальянских походах, о которых оставил нам собственноручный дневник с подробнейшим описанием всего происходившего, описанием, предназначавшимся и для его личного и для общественного пользования.

Поэтому он и женился довольно поздно, по возвращении из Италии, в 1528 году, когда ему было тридцать три года. Но вернемся к разговору о бутылках.

Докуки старости, нуждающейся в опоре и каком-то освежении, с полным основанием могли бы внушить мне желание обладать умением пить, ибо это одна из последних радостей, которые остаются после того, как убегающие годы украли у нас одну за другой все остальные. Знающие толк в этом деле собутыльники говорят, что естественное тепло прежде всего появляется в ногах: оно сродни детству. По ногам оно поднимается вверх, в среднюю область, и, водворяясь здесь надолго, является источником, на мой взгляд, единственных, подлинных плотских радостей (другие наслаждения меркнут по сравнению с ними). Под конец, подобно поднимающемуся и оседающему пару, оно достигает нашей глотки и здесь делает последнюю остановку.

Однако я не могу представить себе, как можно продлить удовольствие от питья, когда пить уже больше не хочется, и как можно создать себе воображением искусственное и противоестественное желание пить. Мой желудок был бы не способен на это: он может вместить только то, что ему необходимо. У меня привычка пить только после еды, и поэтому я под конец почти всегда пью самый большой бокал. Анахарсис удивлялся, что греки к концу трапезы пили из более объемистых чаш, чем в начале ее. Я полагаю, что это делалось по той же причине, по какой так поступают немцы, которые к концу начинают состязание — кто выпьет больше. Платон запрещал детям пить вино до восемнадцатилетнего возраста и запрещал напиваться ранее сорока лет; тем же, кому стукнуло сорок, он предписывает наслаждаться вином вволю и щедро приправлять свои пиры дарами Диониса, этого доброго бога, возвращающего людям веселье и юность старцам, укрощающего и усмиряющего страсти, подобно тому как огонь плавит железо. В своих «Законах» он считает такие пирушки полезными (лишь бы для наведения порядка был распорядитель застолья, сдерживающий остальных), ибо опьянение — это хорошее и верное испытание природы всякого человека; оно, как ничто другое, способно придать пожилым людям смелость пуститься в пляс или

затянуть песню, чего они не решились бы сделать в трезвом виде. Вино способно придать душе выдержку, телу здоровье. И все же Платон одобряет следующие ограничения, частью заимствованные им у карфагенян: «Следует отказаться от вина в военных походах; всякому должностному лицу и всякому судье надо воздерживаться от вина при исполнении своих обязанностей и решении государственных дел; выпивке не следует посвящать ни дневных часов, отведенных для других занятий, ни той ночи, когда хотят дать жизнь потомству».

Говорят, что философ Стильпон, удрученный надвинувшейся старостью, сознательно ускорил свою смерть тем, что пил вино, не разбавленное водой. По той же причине — только вопреки собственному желанию — погиб и отягченный годами философ Аркесилай.

Существует старинный, очень любопытный вопрос: поддается ли душа мудреца действию вина?

Si munitae adhibet vim sapientiae¹.

На какие только глупости не толкает нас наше высокое мнение о себе! Самому уравновешенному человеку на свете надо помнить о том, чтобы твердо держаться на ногах и не свалиться на землю из-за собственной слабости. Из тысячи человеческих душ нет ни одной, которая хоть в какой-то миг своей жизни была бы недвижна и неизменна, и можно сомневаться, способна ли душа по своим естественным свойствам быть таковой? Если добавить к этому еще постоянство, то это будет последняя ступень совершенства; я имею в виду, если ничто ее не поколеблет, — а это может произойти из-за тысячи случайностей. Великий поэт Лукреций философствовал и зарекался, как только мог, и все же случилось, что он вдруг потерял рассудок от любовного напитка. Думаете ли вы, что апоплексический удар не может поразить с таким же успехом Сократа, как и любого носильщика? Некоторых людей болезнь доводила до того, что они забывали свое собственное имя, а разум других повреждался от легкого ранения. Ты можешь быть сколько угодно мудрым, и все же в конечном счете ты — человек; а есть ли что-нибудь более хрупкое, более жалкое и ничтожное? Мудрость нисколько не укрепляет нашей природы:

Sudores itaque et pallorem existere toto
Corpore, et infringi linguam, vocemque aboriri
Caligare oculos, sonere aures, succidere artus
Denique concidere ex animi terrore videmus².

¹ Не придаст ли оно [вино] ослабевшей мудрости большую мощь (*лат.*).

² Если душа охвачена страхом, то мы видим, что тело покрывается потом, бледнеет кожа, цепенеет язык, голос прерывается, темнеет в глазах, в ушах звенит, колени подгибаются и человек валится с ног (*лат.*).

Человек не может не начать моргать глазами, когда ему грозит удар. Он не может не задрожать всем телом, как ребенок, оказавшись на краю пропасти. Природе угодно было сохранить за собой эти незначительные признаки своей власти, которую не может превозмочь ни наш разум, ни стоическая добродетель, чтобы напомнить человеку, что он смертен и хрупок. Он бледнеет от страха, краснеет от стыда; на припадок боли он реагирует если не громким и отчаянным воплем, то хриплым и неузнаваемым голосом:

Humani a se nihil alienum putet¹.

Поэты, которые творят со своими героями все, что им заблагорассудится, не решаются лишить их способности плакать:

Sic fatur lacrimans, classique immitit habenas².

С писателя достаточно того, что он обуздывает и умеряет склонности своего героя; но одолеть их не в его власти. Даже сам Плутарх, — этот превосходный и тонкий судья человеческих поступков, — упомянув о Бруте и Торквате, казнивших своих сыновей, выразил сомнение, может ли добродетель дойти до таких пределов и не были ли они скорее всего побуждаемы какой-нибудь другой страстью. Все поступки, выходящие за обычные рамки, истолковываются в дурную сторону, ибо нам не по вкусу ни то, что выше нашего понимания, ни то, что ниже его.

Оставим в покое стоиков, явно кичащихся своею гордыней. Но когда среди представителей философской школы, которая считается наиболее гибкой, мы встречаем следующее бахвальство Метродора: «Occuravi te, Forluna, atque cepi; omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses»³; или когда по повелению кипрского тирана Никокреона, положив Анаксарха в каменную колоду, его бьют железными молотами и он не перестает восклицать при этом: «Бейте, колотите сколько угодно, вы уничтожаете не Анаксарха, а его оболочку»; или когда мы узнаём, что наши мученики, объятые пламенем, кричали тирану: «С этой стороны уже достаточно прожарено, руби и ешь, мясо готово; начинай поджаривать с другой»; или когда у Иосифа мы читаем, что ребенок, которого по приказанию Антиоха рвут клещами и колют шипами, все еще смело противится ему и твердым, властным голосом кричит: «Тиран, ты попусту теряешь время,

¹ Пусть ничто человеческое ему не будет чуждо (*лат.*).

² Так говорит он сквозь слезы и замедляет ход кораблей (*лат.*).

³ Я поймал и обуздал тебя, судьба; я закрыл для тебя все входы и выходы, чтобы ты не могла до меня добраться (*лат.*).

я прекрасно себя чувствую. Где то страдание, те муки, которыми ты угрожал мне? Знаешь ли ты, с чем ты имеешь дело? Моя стойкость причиняет тебе большее мучение, чем мне твоя жестокость, о гнусное чудовище, ты слабеешь, а я лишь крепну, заставь меня жаловаться, заставь меня дрогнуть, заставь меня, если можешь, молить о пощаде, придай мужества твоим приспешникам и палачам — ты же видишь, что они упали духом и больше не выдерживают, — дай им оружие в руки, возбуди их кровожадность», — когда мы узнаем обо всем этом, то, конечно, приходится признать, что в душах всех этих людей что-то произошло, что их обуяла какая-то ярость, может быть священная. А когда мы читаем о следующих суждениях стойков: «Я предпочитаю быть безумным, чем предаваться наслаждениям» (слова Антисфена) — *Μανείην μάλλον ἢ ἠθεεῖν*; когда Секст уверяет нас, что предпочитает быть во власти боли, нежели наслаждения; когда Эпикур легко мирится со своей подагрой, отказывается от покоя и здоровья и, готовый вынести любые страдания, пренебрегает слабою болью и призывает более сильные и острые мучения, как более достойные его:

Spumantemque dari pecora inter inertia votis
Optat aprum, aut fulvum descendere monte leonem¹,

то кто не согласится с тем, что это проявления мужества, вышедшего за свои пределы? Наша душа не в состоянии воспарить из своего обиталища до таких высот. Ей надо покинуть его и, закусив удила, вознестись вместе со своим обладателем в такую высь, что потом он сам станет удивляться случившемуся, подобно тому как это бывает при военных подвигах, когда в пылу сражения отважные бойцы часто совершают такие рискованные вещи, что, придя потом в себя, они первые им изумляются; и точно так же поэты часто приходят в восторг от своих собственных произведений и не помнят, каким образом их озарило такое вдохновение, — это и есть то душевное состояние, которое называют восторгом и исступлением. И как Платон говорит, что тщетно стучится в дверь поэзии человек бесстрастный, точно так же и Аристотель утверждает, что ни одна выдающаяся душа не чужда до известной степени безумия. Он прав, называя безумием всякое исступление, каким бы похвальным оно ни было, превосходящее наше суждение и разумение. Ведь мудрость — это умение владеть своей душой, которой она руководит осмотрительно, с тактом и с чувством ответственности за нее.

Платон следующим образом обосновывает утверждение, что дар

¹ Он жаждет, чтобы среди этих беззащитных животных ему явился, весь в пене, кабан или спустился с горы рыжий лев (*лат.*).

пророчества есть способность, превосходящая наши силы: «Пророчествуя, — говорит он, — надо быть вне себя, и наш рассудок должен быть помрачен либо сном, либо какой-нибудь болезнью, либо он должен быть вытеснен каким-то сошедшим с небес вдохновением».

ГЛАВА III

ОБЫЧАЙ ОСТРОВА КЕИ

Если философствовать, как утверждают философы, значит сомневаться, то с тем большим основанием заниматься пустяками и фантазировать, как поступаю я, тоже должно означать сомнение. Ученикам подобает спрашивать и спорить, а наставникам — решать. Мой наставник — это авторитет Божьей воли, которому подчиняются без спора и который выше всех пустых человеческих измышлений.

Когда Филипп вторгся в Пелопоннес, кто-то сказал Дамиду, что лакедемонянам придется плохо, если они не сдадутся ему на милость. «Ах ты трус, — ответил он ему, — чего может бояться тот, кому не страшна смерть?» Кто-то спросил Агиса: «Как следует человеку жить, чтобы чувствовать себя свободным?» «Презирая смерть», — ответил он. Такие и тысячи им подобных изречений несомненно не означают, что надо терпеливо дожидаться смерти. Ибо в жизни случается многое, что гораздо хуже смерти. Подтверждением может служить тот спартанский мальчик, взятый Антигоном в плен и проданный в рабство, который, понуждаемый своим хозяином заняться какой-нибудь грязной работой, заявил: «Ты увидишь, кого ты купил. Мне было бы стыдно находиться в рабстве, когда свобода у меня под рукой», — и с этими словами он бросился на камни с вышки дома. Когда Антипатр, желая заставить лакедемонян подчиниться какому-то его требованию, обрушился на них с жестокими угрозами, они ему ответили: «Если ты будешь угрожать нам чем-то худшим, чем смерть, мы умрем с тем большей готовностью». А Филиппу, который написал им, что помешает всякому их начинанию, они заявили: «Ну, а умереть ты тоже сможешь помешать нам?» Ведь говорят же по этому поводу, что мудрец живет столько лет, сколько ему нужно, а не столько, сколько он может прожить, и что лучший дар, который мы получили от природы и который лишает нас всякого права жаловаться на наше положение, это — возможность сбежать. Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни. Нам может не хватать земли для прожития, но, чтобы умереть, человеку всегда ее хватит, как ответил Байокал римлянам. «Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не удерживает; если ты живешь в муках, причиной тому твои малодушие: стоит тебе захотеть и ты умрешь»:

Ubique mors est: optime hac cavit Deus;
Eripere vitam, nemo non homini potest;
At nemo mortem: mille ad banc aditus patent¹.

Смерть — не только избавление от болезней, она — избавление от всех зол. Это — надежнейшая гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Все сводится к тому же, кончает ли человек с собой или умирает; бежит ли он навстречу смерти или ждет, когда она придет сама; в каком бы месте нить ни оборвалась, это — конец клубка. Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же — только от нашей. В этом случае больше, чем в каком-либо другом, мы должны сообразоваться только с нашими чувствами. Мнение других в таком деле не имеет никакого значения; очень глупо считаться с ним. Жизнь превращается в рабство, если мы не вольны умереть. Обычно мы расплачиваемся за выздоровление частицами самой жизни: нам что-то вырезают или прижигают, или ампутируют, или ограничивают питание, или лишают части крови; еще один шаг — и мы можем исцелиться окончательно от всего. Почему бы в безнадежных случаях не перерезать нам, с нашего согласия, горло вместо того чтобы вскрывать вену для кровопускания? Чем серьезнее болезнь, тем более сильных средств она требует. Грамматик Сервий, страдавший от подагры, не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к яду, чтобы умертвить свои ноги. Пусть они останутся подагрическими, лишь бы он их не чувствовал! Ставя нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, Бог дает нам при этом достаточно воли.

Поддаваться страданиям значит выказывать слабость, но давать им пищу — безумие.

Стоики утверждают, что для мудреца жить по велениям природы значит вовремя отказаться от жизни, хоть бы он и был в цвете сил; для глупца же естественно цепляться за жизнь, хотя бы он и был несчастлив, лишь бы он в большинстве вещей сообразовался, как они говорят, с природой.

Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни.

Гегесий говорил, что все, что касается нашей смерти или нашей жизни, должно зависеть от нас.

Диоген, встретив уже много лет страдавшего от водянки филосо-

¹ Всяду — смерть: с этим Бог распорядился наилучшим образом; всякий может лишить человека жизни, но никто не может отнять у него смерти: тысячи путей ведут к ней (*лат.*).

фа Спевсиппа, которого несли на носилках и который крикнул ему: «Доброго здоровья, Диоген!», ответил: «А тебе я вовсе не желаю здоровья, раз ты миришься с жизнью, находясь в таком состоянии».

И действительно, некоторое время спустя Спевсипп покончил с собой, устав от такого тяжкого существования.

Однако далеко не все в этом вопросе единодушны. Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней; что лишь от Бога, который послал нас в мир не только ради нас самих, но и ради Его славы и служения ближнему, зависит дать нам волю, когда Он того захочет, и не нам принадлежит этот выбор; мы рождены, говорят они, не только для себя, но и для нашего отечества; в интересах общества законы требуют от нас отчета в наших действиях и судят нас за самоубийство, иначе говоря, за отказ от выполнения наших обязанностей нам полагается наказание и на том и на этом свете:

Proxima deinde tenent moesti loca, qui sibi letum
Insontes peperere manu, lucemque perosi
Proiecere animas¹.

Больше стойкости — в том, чтобы жить с цепью, которою мы скованы, чем разорвать ее, и Регул, является более убедительным примером твердости, чем Катон. Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной; даже в горе и страдании она ищет своей пищи. Угрозы тиранов, костры и палачи только придают ей духу и укрепляют ее:

Duris ut ilex tonsa bipennibus
Nigrae feraci frondis in Algido.
Per damna, per caedes, ab ipso
Ducit opes animuraque ferro².

Или, как говорит другой поэт,

Non est, ut putas, virtus, pater,
Timere vitam, sed malis ingentibus
Obstare, nec se vertere ac retro dare³.

¹ Рядом занимают места несчастные, которые, ни в чем не повинные, сами покончили с собой и, возненавидев мир, лишили себя жизни (*лат.*).

² Так и дуб, что растет в густых лесах на Алгиде: его подрубают злой секирой, а он, несмотря на раны и удары, закаляется от нанесенных ударов и черпает в них силу (*лат.*).

³ Доблесть не в том, как ты полагаешь, отец, чтобы бояться жизни, а в том, чтобы уметь противостоять большому несчастью, не отвернуть и не отступить перед ним (*лат.*).

Rebus in adversis facile est contemnere mortem
Fortius ille facit qui miser esse potest¹.

Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, — таков удел трусости, а не добродетели. Добродетель не прерывает своего пути, какая бы гроза над нею ни бушевала:

Si fractus illabatur orbis
Inpavidum ferient ruinae².

Нередко стремление избежать других бедствий толкает нас к смерти; иногда же опасение смерти приводит к тому, что мы сами бежим ей навстречу —

Nic, rogo, non furor est, ne moriari mori³,

подобно тем, кто из страха перед пропастью сами бросаются в нее:

multos in summa pericula misit
Venturi timor ipse mali; fortissimus ille est,
Qui promptus metuenda pati, si cominus instent,
Et differre potest⁴.

Usque adeo, mortis formidine, vitae
Percipit humanos odium, lucisque videndae,
Ut sibi consciscant maerenti pectore letum
Obliti fontem curarum hunc esse timorem⁵.

Платон в своих «Законах» предписывает позорные похороны для того, кто лишил жизни и всего предназначенного ему судьбой своего самого близкого и больше чем друга, то есть самого себя, и сделал это не по общественному приговору и не по причине какой-либо печальной и неизбежной случайности и не из-за невыносимого стыда, а исключительно по трусости и слабости, то есть из малодушия. Презрение к жизни — нелепое чувство, ибо в конечном счете она — все, что у нас есть, она — все наше бытие. Те существа, жизнь кото-

¹ В бедствиях легко не бояться смерти, но гораздо больше мужества проявляет тот, кто умеет быть несчастным (*лат.*).

² Пусть рухнет распавшийся мир: его обломки поразят бесстрашного (*лат.*).

³ Разве не безумие — спрашиваю я вас — умереть от страха смерти? (*лат.*).

⁴ Самый страх перед возможной бедой ставил многих людей в очень опасные положения; но храбрейшим является тот, кто легко переносит опасности, если они непосредственно угрожают, и умеет избежать их (*лат.*).

⁵ Из-за страха перед смертью людей охватывает такое отвращение к жизни и дневному свету, что они в тоске душевной лишают себя жизни, забывая, что источником их терзаний был именно этот страх (*лат.*).

рых богаче и лучше нашей, могут осуждать наше бытие, но неестественно, чтобы мы презирали сами себя и пренебрегали собой; ненавидеть и презирать самого себя — это какой-то особый недуг, не встречающийся ни у какого другого создания. Это такая же нелепость, как и наше желание не быть тем, что мы есть. Следствие такого желания не может быть нами оценено, не говоря уже о том, что оно само себе противоречит и уничтожает себя. Тот, кто хочет из человека превратиться в ангела, ничего не достигнет, ничего не выиграет, ибо раз он перестает существовать, то кто же за него порадуется и ощутит это улучшение?

Debet enim misere cui forte aegreque futurum est,
Ipse quoque esse in eo tum tempore, cum male possit
Accidere¹.

Спокойствие, отсутствие страданий, невозмутимость духа, избавление от зол этой жизни, обретаемые нами ценою смерти, нам ни к чему. Незачем избегать войны тому, кто не в состоянии наслаждаться миром, и тот, кто не может вкушать покой, напрасно бежит страданий.

Среди философов, приверженцев первой точки зрения, были большие сомнения вот по какому поводу: какие причины достаточно вески, чтобы заставить человека принять решение лишиться себя жизни? Они называют это εὐλογον ἐξαγογήν². Ибо хотя они говорят, что нередко приходится умирать из-за незначительных причин, так как те, что привязывают нас к жизни, не слишком вески, все же в этом должна быть какая-то мера. Существуют безрассудные и взбалмошные порывы, толкающие на самоубийство не только отдельных людей, а целые народы. Выше я уже приводил такого рода примеры, сошлюсь, кроме того, на девушек из Милета, которые, вступив в какой-то безумный сговор, вешались одна за другой до тех пор, пока в это дело не вмешались власти, издавшие приказ, что впредь тех, кого найдут повесившимися, на той же веревке будут волочить голыми по всему городу. Когда Терикион стал убеждать Клеомена покончить с собой из-за тяжелого положения, в котором тот оказался, избежав почетной смерти в только что проигранном сражении, и доказывать Клеомену, что тот должен решиться на эту менее почетную смерть, чтобы не дать победителю возможности обречь его ни на позорную жизнь, ни на позорную смерть, Клеомен с подлинно спартанским стоическим мужеством отверг этот совет, как малодушный

¹ Тот, кому будущее представляется тяжелым и мучительным, еще должен быть в живых тогда, когда эти невзгоды могут обрушиться? (*лат.*)

² Разумным выходом (*греч.*).

и трусливый: «Этот выход, — сказал он, — от меня никогда не уйдет, но к нему не следует прибегать, пока остается хотя тень надежды». Жизнь, говорил он, иногда есть доказательство выдержки и мужества; он хочет, чтобы самая смерть его сослужила службу его родине, и потому он желает превратить ее в деяние доблести и добродетели. Террикиона это не убедило, и он покончил с собой. Клеомен спустя некоторое время поступил так же, но после того, как испробовал все. Все бедствия не стоят того, чтобы, желая избежать их, стремиться к смерти.

Кроме того, в судьбе человеческой бывает иной раз столько внезапных перемен, что трудно судить, в какой мере мы правы, полагая, будто не остается больше никакой надежды:

Sperat et in saeva victus gladiator arena
Sit licet infesto pollice turba minax¹.

Старинное присловие гласит: пока человек жив, он может на все надеяться. «Конечно, — отвечает на это Сенека, — но почему я должен думать о том, что фортуна может все сделать для того, кто жив, а не думать о том, что она ничего не может сделать тому, кто сумел умереть?» У Иосифа мы читаем, что он находился на краю гибели, когда весь народ поднялся против него, и, рассуждая здраво, он видел, что для него не оставалось спасения; и все же, сообщает он, когда один из его друзей посоветовал ему покончить с собой, то он, к счастью, решил все же не терять надежды, — и вот, против всякого ожидания, судьбе угодно было распорядиться так, что он выпутался из затруднений без всякого для себя ущерба. А Брут и Кассий, наоборот, своей поспешностью и легкомыслием лишь способствовали гибели последних остатков римской свободы, защитниками которой они были, после чего покончили с собой раньше времени. Я видел, как сотни зайцев спасались, будучи почти уже в зубах борзых. *Aliquis carnifici suo superstes tuit*².

*Multa dies variusque labor mutabilis aevi
Rettulit in melius; multo alterna revisens
Lusit, et in solido rursus fortuna locavit*³.

Плиний утверждает, что есть лишь три болезни, из-за которых можно лишиться себя жизни; из них самая мучительная — это камни

¹ И побежденный в жестоком бою гладиатор надеется, хотя толпа, угрожая, требует его смерти (*лат.*).

² Есть и такие, что пережили своего палача (*лат.*).

³ Нередко время и разнообразные труды переменчивого века улучшают положение дел; изменчивая фортуна, снова посещая людей, многих обманула, а затем снова укрепила (*лат.*).

в мочевом пузыре, препятствующие мочеиспусканию. Сенека же считает наихудшими те болезни, которые надолго повреждают наши умственные способности.

Некоторые, желая избежать худшей смерти, полагают, что они должны бежать ей навстречу. Вождю этолийцев Дамокриту, когда его вели пленником в Рим, удалось ночью бежать. Преследуемый стражей, он закололся мечом, прежде чем его поймали.

Антиной и Теодот, когда их город в Эпире доведен был римлянами до последней крайности, стали увещевать все население лишиться себя жизни; но жители города, решив, что лучше умереть победителями, пошли на смерть и ринулись на врагов, словно не оборонялись, а наступали на них.

Когда остров Гоцо несколько лет тому назад вынужден был сдать туркам, один сицилиец, у которого были две красивые дочери на выданье, собственной рукой убил их, а вслед за тем и их мать, которая прибежала, узнав об их смерти. Выскочив затем на улицу с аркебузой и арбалетом, он двумя выстрелами убил наповал двух первых попавшихся ему навстречу турок, приближавшихся к его дому; потом с мечом в руке яростно кинулся в самую гущу врагов, которыми был тотчас же окружен и изрублен в куски; так он спас себя от рабства, избавив сначала от него своих близких.

Еврейские матери, совершив, несмотря на преследования, обрезание своим сыновьям, настолько испугались гнева Антиоха, что сами лишали себя жизни. Мне рассказывали про некоего знатного человека, что, когда он был посажен в одну из наших тюрем, его родители, узнав, что он наверняка будет осужден на казнь, желая избежать такой постыдной смерти, подослали к нему священника, внушившего ему, что наилучшим для него средством избавления будет отдаться под покровительство того или иного святого, принеся определенный обет, после чего он в течение недели не должен притрагиваться к пище, какую бы слабость ни чувствовал. Узник поверил священнику и уморил себя голодом, избавив себя этим и от опасности, и от жизни. Скрибония, советуя своему племяннику Либону лучше лишиться себя жизни, чем ждать приговора суда, убеждала его, что оставаться в живых для того, чтобы через три-четыре дня отдать свою жизнь тем, кто возьмет ее, в сущности то же, что делать за другого его дело, и что это означает оказывать услугу врагам, сохраняя свою кровь, чтобы она послужила им добычей.

В Библии мы читаем, что гонитель истинной веры Никанор повелел своим приспешникам схватить доброго старца Разиса, прозванного за свою добродетель отцом иудеев. И вот когда этот добрый муж увидел, что дело принимает дурной оборот, что ворота его двора подожжены и враги готовятся схватить его, он, решив, что луч-

ше умереть доблестной смертью, чем отдаться в руки этих злодеев и позволить всячески унижать себя и позорить, пронзил себя мечом. Но от поспешности он нанес себе лишь легкую рану, и тогда, взбежав на стену, он бросился с нее вниз головой на толпу своих гонителей, которая расступилась так, что образовалась пустота, куда он и упал, почти размозжив себе голову. Однако, чувствуя, что он еще жив, и пылая яростью, он, несмотря на лившуюся из него кровь и тяжкие раны, поднялся на ноги и пробежал, расталкивая толпу, к крутой и отвесной скале. Здесь, собрав последние силы, он сквозь глубокую рану вырвал у себя кишки и, скомкав и разорвав их руками, швырнул их своим гонителям, призывая на их головы Божью кару.

Из насилий, чинимых над совестью, наиболее следует избегать, на мой взгляд, тех, которые наносятся женской чести, тем более, что в таких случаях страдающая сторона неизбежным образом также испытывает известное физическое наслаждение, в силу чего сопротивление ослабевает, и получается, что насилие отчасти порождает ответное желание. Пелагея и Софрония — обе канонизированные святые — покончили с собой: Пелагея, спасаясь от нескольких солдат, вместе с матерью и сестрами бросилась в реку и утонула, Софрония же тоже лишила себя жизни, чтобы избежать насилия со стороны императора Максенция. История Церкви знает много подобных примеров и чтит имена тех благочестивых особ, которые шли на смерть, чтобы охранить себя от насилий над их совестью. К нашей чести в будущих веках окажется, пожалуй, то, что один ученый автор наших дней, притом парижанин, всячески старается внушить нашим дамам, что лучше пойти на все, что угодно, но только не принимать рокового, вызванного отчаянием, решения покончить с собой. Жаль, что ему осталось неизвестным одно острое словцо, которое могло бы усилить его доводы. Одна женщина в Тулузе, прошедшая через руки многих солдат, после говорила: «Слава богу, хоть раз в жизни я досыта насладились, не согрешив».

Эти жестокости действительно не вяжутся с кротким нравом французского народа, и мы видим, что со времени этого забавного признания положение дел весьма улучшилось; с нас достаточно, чтобы наши дамы, следуя завету прямодушного Маро, позволяли все, что угодно, но говорили при этом: «Нет, нет, ни за что!»

История полна примеров, когда люди всякими способами меняли несносную жизнь на смерть.

Луций Арунций покончил с собой, чтобы уйти разом, как он выразился, и от прошедшего, и от грядущего.

Граний Сильван и Стаций Проксим, получив помилование от Нерона, все же лишили себя жизни — то ли потому, что не захотели жить по милости такого злодея, то ли для того, чтобы над ними не висела

угроза вновь зависеть от его помилования: ведь он был подозрителен и беспрестанно сыпал обвинениями знатных лиц.

Спаргаписес, сын царицы Томирис, попав в плен к Киру, воспользовался первой же милостью Кира, приказавшего освободить его от оков, и лишил себя жизни, так как он считал, что наилучшим применением свободы будет выместить на себе позор своего пленения.

Богу, наместник царя Ксеркса в Эйоне, осажденный афинской армией под предводительством Кимона, отверг предложение вернуться целым и невредимым со всем своим имуществом в Азию, так как не хотел примириться с потерей всего того, что было ему доверено Ксерксом. Он защищал поэтому свой город до последней крайности, но, когда в крепости кончились съестные припасы, он приказал бросить в реку Стримон все золото и ценности, которыми враг мог бы увеличить свою добычу. Затем он велел соорудить большой костер и, умертвив жен, детей, наложниц и слуг, бросил их в огонь, а после этого сам кинулся в пламя.

Индусский сановник Нинахтон, прослышав о намерении португальского вице-короля отрешить его без всякой видимой причины от занимаемого им в Малакке поста и передать его царю Кампара, принял следующее решение. Он приказал построить длинный, но не очень широкий помост укрепленный на столбах, и роскошно украсить его цветами, расставив курильницы с благовониями. Облачившись затем в одеяние из золотой ткани, усыпанное драгоценными камнями, он вышел на улицу и взошел по ступеням на помост, в глубине которого был зажжен костер из ароматических деревьев. Народ стекался к помосту, чтобы посмотреть, для чего делаются эти необычные приготовления. Тогда Нинахтон запальчиво и с негодующим видом стал рассказывать о том, чем ему обязаны португальцы, как преданно он служил им, как часто он с оружием в руках доказывал, что честь ему куда дороже жизни, но что сейчас он не может не подумать о себе, и так как у него нет средств бороться против оскорбления, которое ему хотят нанести, то его доблесть велит ему по крайней мере не покориться духом и сделать так, чтобы в народе сложилась молва о его торжестве над недостойными его людьми. Сказав это, он бросился в огонь.

Секстилия, жена Сквара, и Паксея, жена Лабеоны, желая придать духу своим мужьям и избавить их от грозившей им опасности, которая им обеим вовсе не угрожала и тревожила их только из любви к мужьям, предложили добровольно пожертвовать своей жизнью, чтобы в том безвыходном положении, в каковом оказались их мужья, послужить им примером и разделить их участь. То же самое что эти женщины совершили для своих мужей, сделал и Кокцей Нерва для блага отечества, хотя и с меньшей пользой, но побуждаемый столь

же сильной любовью. У этого выдающегося законоведа, наслаждавшегося цветущим здоровьем, богатством, славой и доверием императора, не было никаких других оснований лишиться себя жизни, кроме удручавшего его положения дел в его отечестве. Но нет ничего благороднее той смерти, на которую обрекла себя жена приближенного Августа, Фульвия. До Августа дошло, что Фульвий проговорился о важной тайне, которую он ему доверил, и, когда Фульвий однажды утром пришел к нему, Август встретил его весьма неласково. Фульвий вернулся домой в отчаянии и дрожащим голосом рассказал жене, в какую беду он попал, добавил, что он решил покончить с собой. «Ты поступишь совершенно правильно, — ответила она ему смело, — ведь ты много раз убеждался в моей болтливости и все же не таился от меня. Позволь только мне покончить с собой первой». И без лишних слов она пронзила себя мечом.

Вибий Вирий, потеряв надежду на спасение своего родного города, осажденного римлянами, и не рассчитывая на милость с их стороны, на последнем собрании городского сената, изложив все свои доводы и соображения на этот счет, заключил свою речь выводом, что лучше всего им будет покончить с собою своими собственными руками и так спастись от ожидавшей их участи. «Враги проникнутся к нам уважением, — сказал он, — и Ганнибал узнает, каких преданных сторонников он бросил на произвол судьбы». После этого он пригласил всех, согласных с его мнением, на пиршество, уже приготовленное в его доме, с тем, что, когда они насытятся яствами и напитками, они все также хлебнут из той чаши, которую ему поднесут. «В ней будет напиток, — заявил он, — который избавит наше тело от мук, душу от позора, а глаза и уши от всех тех мерзостей, которые жестокие и разъяренные победители творят с побежденными. Я распорядился, и держу наготове людей, которые бросят наши бездыханные тела в костер, разложенный перед моим домом». Многие одобрили это смелое решение, но лишь немногие последовали ему. Двадцать семь сенаторов пошли за Вибием в его дом и, попытавшись утопить свое горе в вине, закончили пир условленным смертельным угощением. Посетовав вместе над горькой участью родного города, они обнялись, после чего некоторые из них разошлись по домам, другие же остались у Вибия, чтобы быть похороненными вместе с ним в приготовленном перед его домом костре. Но смерть их оказалась мучительно долгой, ибо винные пары, заполонив вены, замедлили действие яда, так что некоторые из них умерли всего за час до происшедшего на другой день захвата римлянами Капуи и едва-едва спаслись от бед, за избавление от которых заплатили такой дорогой ценой.

Другой капуанец, Таврей Юбеллий, когда консул Фульвий вернулся после позорной бойни, учиненной им над двумястами двадца-

тью пятью сенаторами, дерзко окликнул его по имени и остановил его. «Прикажи, — сказал он ему, — после стольких совершенных тобой казней лишить и меня жизни; тогда ты сможешь похвалиться, что убил человека много достойнее себя». И так как Фульвий не обращал на него, как на безумца, внимания (к тому же он только что получил из Рима предписания, шедшие вразрез с его бесчеловечно жестоким поведением и связывавшие ему руки), то Юбеллий продолжал: «Итак, теперь, когда мой край в руках врагов, когда мои друзья погибли, когда я собственной рукой лишил жизни жену и детей, чтобы спасти их от этих бедствий, а я сам лишен возможности разделить участь моих сограждан, — пусть моя собственная доблесть избавит меня от этой ненавистной жизни». С этими словами он вытащил спрятанный под платьем кинжал и, пронзив себе грудь, замертво упал к ногам консула.

Александр осаждал какой-то город в Индии. Жители, доведенные до крайности, твердо решили лишить его радости победы; они подожгли город и вместе с ним все погибли в пламени, презрев великодушные победителя. Началось новое сражение: враги дрались за то, чтобы их спасти, а жители — за возможность покончить с собой, причем прилагали к этому такие же усилия, какие люди обычно делают, чтобы спасти свою жизнь.

Жители испанского города Астапы, видя, что его стены и укрепления недостаточно крепки, чтобы устоять против римлян, сложили на городской площади, в виде огромной кучи, все свои богатства и домашнюю утварь, посадив сверху жен и детей, и обложили эту груду хворостом и другими легко воспламеняющимися материалами, оставив там пятьдесят юношей для выполнения задуманного ими плана. После этого они сделали вылазку и, убедившись в невозможности победить врага, все до последнего добровольно лишили себя жизни. А пятьдесят юношей, умертвив всех оставшихся в городе жителей, подожгли затем высившуюся на площади груду и сами бросились в этот костер. Так распрощались они со своей благородной свободой не с болью и позором, а скорее в бесчувственном состоянии, доказав врагам, что если бы судьбе угодно было, то у них хватило бы мужества лишить их победы с тем же успехом, с каким они сумели сделать для них эту победу бесплодной, отталкивающей, а кое для кого даже смертоносной. Ведь некоторые из противников, привлеченные блеском золота, плавившегося в этом пожарище, подбегали слишком близко к огню и либо задыхались от дыма, либо сгорали, ибо не могли уже податься назад, так как сзади напирала следовавшая за ними толпа. Такое же решение приняли и жители Абидоса, доведенные до крайности Филлипом. Но царь, внезапно взяв город и не желая быть свидетелем того, как это ужасное решение,

принятое с безрассудной поспешностью, будет приводиться в исполнение, приказал захватить все те сокровища и утварь, которые они собирались сжечь или утопить, а затем отозвал своих солдат, предоставив жителям три дня, в течение которых они могли бы свободно лишать себя жизни, как им заблагорассудится. Они и воспользовались этим, устроив такое кровопролитие и смертоубийство, которое превзошло всякую вражескую жестокость; не осталось в живых ни единой души, у которой была возможность свободно распорядиться своей участью. Известно множество случаев таких массовых самоубийств, которые кажутся нам тем более ужасными, чем большее число лиц в них участвовало. На самом же деле они менее ужасны, чем самоубийства единичные, ибо доводы, которые на каждого человека, взятого в отдельности, и не подействовали бы, на массу могут подействовать: в пылком порыве, охватывающем толпу, гаснет разум отдельных людей.

Во времена Тиберия те, кто были осуждены и ожидали казни, лишались своего имущества и права на погребение; тех же, кто, предвосхищая события, сами лишали себя жизни, хоронили, и они могли составлять завещания.

Но иногда желают смерти в ожидании какого-то большего блага. «Имею желание разрешиться, — говорит святой Павел, — и быть со Христом»; и в другом месте он спрашивает: «Кто избавит меня от сего тела смерти?» Клеомброт Амбракийский, прочтя «Пир» Платона, так загорелся жаждой грядущей жизни, что без всяких других к тому поводов бросился в море. Отсюда явствует, что мы неправильно именуем отчаянием то добровольное решение, к которому нас часто побуждает пылкая надежда, а нередко и спокойное, ясное рассуждение. Суассонский епископ Жак дю Шатель, участник крестового похода Людовика Святого, видя, что король и вся армия собираются вернуться во Францию, не доведя до конца свое предприятие, решил, что лучше уж ему отправиться в рай. Простившись со своими друзьями, он на глазах у всех бросился в гущу врагов и был изрублен.

В одном из царств новооткрытых земель в день торжественной процессии, когда в огромной колеснице везут по улицам боготворимого ими идола, некоторые отрубают у себя куски тела и бросают ему, другие же ложатся посреди дороги, чтобы быть раздавленными под колесами и в награду за это после смерти причисленными к святым.

В смерти вышеназванного епископа больше благородного порыва, нежели рассудка, так как он был отчасти увлечен пылом сражения.

В некоторых странах государственная власть вмешивалась и пыталась установить, в каких случаях правомерно и допустимо добровольно лишать себя жизни. В прежние времена в нашем Марселе хранился запас цикуты, заготовленный на государственный счет и дос-

тупный всем, кто захотел бы укоротить свой век, но при условии, что причины самоубийства должны были быть одобрены советом шестисот, то есть сенатом; наложить на себя руки можно было только с разрешения магистрата и в узаконенных случаях.

Такой же закон существовал и в других местах. Секст Помпей, направляясь в Азию, по дороге из Негропонта остановился на острове Кее. Как сообщает один из его приближенных, случилось как раз так, что, когда он там находился, одна весьма уважаемая женщина, изложив своим согражданам причины, по которым она решила покончить с собой, попросила Помпея оказать ей честь своим присутствием при ее смерти. Помпей согласился и в течение долгого времени пытался с помощью своего отменного красноречия и различных доводов отговорить ее от ее намерения, но все было напрасно, и под конец он вынужден был дать согласие на ее самоубийство. Она прожила девяносто лет в полном благополучии, и телесном, и духовном; и вот теперь, возлегши на свое более чем обычно украшенное ложе, она, опершись на локоть, промолвила: «О, Секст Помпей, боги, — и, пожалуй, скорее те, которых я оставляю, чем те, которых я скоро увижу, — воздадут тебе за то, что ты не погнушался мной и сначала пытался уговорить меня жить, а затем согласился быть свидетелем моей смерти. Что касается меня, то фортуна всегда обращала ко мне свой благой лик, и вот боязнь, как бы желание жить дольше не принудило меня узреть другой ее лик, побуждает меня отказаться от дальнейшего существования, оставив двух дочерей и множество внуков». Сказав это, она дала наставление своим близким и призвала их к миру и согласию, разделила между ними свое имущество и поручила домашних богов своей старшей дочери; затем она твердой рукой взяла чашу с ядом и, вознеся мольбы Меркурию и попросив его уготовить ей какое-нибудь спокойное местечко в загробном мире, быстро выпила смертельный напиток. Но она продолжала следить за последствиями своего поступка; чувствуя, как ее органы один за другим охватывал ледящий холод, она заявила под конец, что холод этот добрался до ее сердца и внутренностей, и подозвала своих дочерей, чтобы те сотворили над ней последнюю молитву и закрыли ей глаза.

Плиний сообщает об одном из северных народов, что благодаря мягкости тамошнего воздуха люди в тех краях столь долговечны, что обычно сами кончают с собой; устав от жизни, они обыкновенно, по достижении весьма почтенного возраста, после славной пирушки бросаются в море с вершины определенной, предназначенной для этой цели скалы.

По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству.

ГЛАВА IV

ДЕЛА — ДО ЗАВТРА!

Среди всех французских писателей я отдаю пальму первенства — как мне кажется, с полным основанием — Жаку Амио, и не только по причине непосредственности и чистоты его языка — в чем он превосходит всех прочих авторов, — или упорства в столь длительном труде, или глубоких познаний, помогших ему передать так удачно мысль и стиль трудного и сложного автора (ибо меня можно уверить во всем, что угодно, поскольку я ничего не смыслю в греческом; но я вижу, что на протяжении всего его перевода смысл Плутарха передан так превосходно и последовательно, что либо Амио в совершенстве понимал подлинный замысел автора, либо он настолько вжился в мысли Плутарха, сумел настолько отчетливо усвоить себе его общее умонастроение, что нигде по крайней мере он не приписывает ему ничего такого, что расходилось бы с ним или ему противоречило). Но главным образом я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, чтобы подарить ее в подарок моему отечеству. Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли. Благодаря его труду мы в настоящее время решаемся и говорить, и писать по-французски; даже дамы состязаются в этом с магистрами. Амио — это наш молитвенник. Если этому благодетелю суждено еще жить долгие годы, то я советовал бы ему перевести Ксенофонта: это занятие более легкое и потому более подходящее его преклонному возрасту. И потом, мне почему-то кажется, что, хотя он очень легко и искусно справляется с трудными местами, все же его стиль более верен себе, когда мысль его течет плавно, без стеснения, не преодолевая препятствий.

Я только что перечел то место, где Плутарх рассказывает о себе следующее. Однажды Рустик, слушая в Риме его публичную речь, получил послание от императора, но не стал вскрывать его, пока речь не была окончена. Все присутствующие, сообщает Плутарх, очень хвалили выдержку Рустика. Рассуждая о любопытстве и о том жадном и остром пристрастии к новостям, которое нередко побуждает нас нетерпеливо и бесцеремонно бросать все ради того, чтобы побеседовать с новым лицом, или заставляет нас, пренебрегая долгом вежливости и приличия, тотчас же распечатывать, где бы мы ни находились, доставленные нам письма, Плутарх имел все основания одобрить выдержку Рустика; он мог бы кроме того похвалить еще его благовоспитанность и учтивость: ведь тот не пожелал прерывать течения его речи. Но я сомневаюсь, можно ли хвалить Рустика за благоразумие, ибо при неожиданном получении письма, да притом еще от самого императора, легко могло случиться, что, не распеча-

тав и не прочитав его сразу, он тем самым навлек бы на себя крупную неприятность.

Прямо противоположен любопытству другой недостаток — беспечность, к которой я склонен по своему нраву. Я знал многих лиц, беспечность которых доходила до того, что у них можно было найти в карманах нераспечатанные письма, полученные за три или четыре дня до того.

Я никогда не распечатываю не только писем, порученных мне для передачи другим, но и тех, которые случайно попадают мне в руки; и мне бывает совестно, если, находясь возле какого-нибудь высокопоставленного лица, я ненароком бросаю взгляд на какую-нибудь строку из важного письма, которое он читает. Нет человека, который бы меньше, чем я, интересовался чужими делами и стремился за ними подглядывать.

На памяти наших отцов господин де Бутьер чуть было не потерял Турин из-за того, что, сидя за ужином в приятной компании, не стал тотчас читать полученное им донесение об изменах, замышлявших в городе, обороной которого он руководил. Из того же Плутарха я узнал, что Юлий Цезарь избежал бы смерти, если бы, идучи в сенат в тот день, когда он был убит заговорщиками, прочел переданную ему записку. Плутарх еще рассказывает о фиванском тиране Архии, что накануне того дня, когда Пелопид привел в исполнение свой замысел убить его и вернуть свободу своему отечеству, некий другой Архий, афинянин, точнеем образом изложил ему в письме все, что против него затевалось; но так как это сообщение было передано Архию во время ужина, то он отложил и не стал распечатывать письма, произнеся слова, которые с тех пор вошли в Греции в пословицу: «Дела — до завтра!»

Разумный человек может, на мой взгляд, в интересах других — ради, например, того, чтобы не нарушить нескромным образом компанию, как это могло иметь место с Рустиком, или ради того, чтобы не расстроить какое-нибудь важное дело, — отложить на время ознакомление с сообщаемыми ему новостями; непростительно делать это ради самого себя или какого-нибудь своего удовольствия, в особенности если это человек, занимающий высокий пост, и когда отсрочка делается для того, чтобы не нарушить обед или сон. Ведь существовало же в Древнем Риме за столом так называемое консульское место, которое считалось самым почетным и предназначалось главным образом для того, чтобы неожиданно зашедшим лицам было легче и доступнее поговорить с тем, кто сидел на нем. Это свидетельствует о том, что, находясь за столом, они не откладывали других дел на «потом» и сразу же узнавали о случившемся.

Однако — договаривая до конца — очень трудно, в особенности когда дело идет о человеческих поступках, предписать какие-нибудь точные продиктованные разумом правила и исключить действие случайности, всегда сохраняющей свои права в этих делах.

ГЛАВА V

О СОВЕСТИ

Однажды, во время наших гражданских войн, я, путешествуя вместе с моим братом, сиром де Ла Брусе, встретился с одним почтенным дворянином. Он был приверженцем противной нам партии, но я этого не знал, так как он подделывался под нашу. Хуже всего в этих войнах то, что карты в них до того перемешаны, что нет никакой определенной приметы, по которой можно было бы признать своего врага: он не отличается ни по языку, ни по внешнему виду, он дышит тем же воздухом, что и мы, вырос среди тех же законов и обычаев, так что трудно не ошибиться, не попасть впросак. Это заставляло меня самого опасаться, как бы мне не встретиться с нашим же отрядом в таких местах, где меня не знают и где мне пришлось бы назвать себя или натолкнуться на что-нибудь еще худшее, как это уже однажды со мной случилось. А именно, при одном из таких недоразумений я потерял своих лошадей и несколько людей, в том числе моего пажа, итальянского дворянина, которого я заботливо воспитывал и который погиб в расцвете своих отроческих лет, не успев оправдать больших надежд, которые он подавал. Но тот дворянин, с которым мы на сей раз встретились, имел такой растерянный вид и так пугался при каждом появлении конных солдат или когда мы проезжали через города, стоявшие за короля, что под конец я догадался: то были муки его беспокойной совести. Этому бедняге казалось, что сквозь его маску и куртку для верховой езды можно прочесть тайные замыслы, которые он таил в душе. Вот какие удивительные вещи способна проделывать с нами совесть! Она заставляет нас изменять себе, предавать себя и самому же себе вредить. Даже когда нет свидетеля, она выдает нас против нашей воли —

*Occultum quatiens animo tortore flagellum*¹.

Всем, вплоть до малых детей, известен следующий рассказ. Финикиец Бессий, которого упрекали в том, что он без причины разорил воробьиное гнездо и убил воробьев, оправдывался тем, что эти птички без умолку зря обвиняли его в убийстве отца. До этого мгновения никто ничего не знал об этом отцеубийстве, оно оставалось тайной, но мстящие фурии человеческой совести заставили раскрыть эту тайну именно того, кто должен был понести за нее наказание.

Гесиод, в отличие от Платона, заявлявшего, что наказание следует по пятам за преступлением, утверждал, что наказание совершается вместе с преступлением, в тот же миг. Кто ждет наказания, несет

¹ Душа, как палач, терзает их скрытым бичеванием (*лат.*).

его, а тот, кто его заслужил, ожидает его. Содеянное зло порождает терзания —

Malum consilium pessimum¹, —

подобно тому как пчела, жаля и причиняя боль другому, причиняет себе еще большее зло, ибо теряет жало и погибает:

vitasque in vulnere ponunt².

Шпанская муха носит в себе какое-то вещество, которое служит противоядием против ее собственного яда. Сходным образом одновременно с наслаждением, получаемым от порока, совесть начинает испытывать противоположное чувство, которое и во сне и наяву терзает нас мучительными видениями:

Quippe ubi se nulli, per somnia saepe loquentes
Aut morbo delirantes, protraxe ferantur
Et celata diu in medium peccata dedisse³.

Аполлодору привиделось во сне, будто скифы сдирают с него кожу и варят его в котле, а сердце его при этом приговаривает: «это я причина всех этих зол». Эпикур говорил, что злодеям нигде нельзя укрыться, так как они не могут уйти от собственной совести.

...prima est haec ultio, quod se
Iudice nemo nocens absolvitur⁴.

Совесть может преисполнять нас страхом, так же как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием. О себе я могу сказать, что во многих случаях я шел гораздо более твердым шагом, ибо ощущал тайное согласие со своей волей и сознавал чистоту моих помыслов:

Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra
Pectora pro facto spemque metumque suo⁵.

Такого рода примеров тысячи, я ограничусь, однако, только тремя, касающимися одного и того же лица.

Когда Сципиона однажды обвинили пред лицом римского наро-

¹ Дурной совет более всего вредит советчику (*лат.*).

² И свою жизнь они оставляют в ране, [которую нанесли] (*лат.*).

³ Ибо многие выдавали себя, говоря во сне или в бреду во время болезни, и разблачали злодеяния, долго остававшиеся скрытыми (*лат.*).

⁴ Первое наказание для виновного заключается в том, что он не может оправдаться перед собственным судом (*лат.*).

⁵ Наши действия порождают в нас надежды или страх в зависимости от наших побуждений (*лат.*).

да в важном преступлении, он вместо того, чтобы оправдываться перед своими судьями или заискивать перед ними, сказал им: «Очень вам это к лицу — затевать суд и требовать головы человека, благодаря которому вы наделены властью судить весь мир». Другой раз в ответ на обвинения, которые бросил ему в лицо один народный трибун, он вместо того, чтобы защищаться, сказал, обращаясь к своим согражданам: «Давайте пойдем и воздадим хвалу богам за победу, которую они мне даровали над карфагенянами в такой же день, как сегодня», и когда он двинулся по направлению к храму, вся толпа, и в том числе его обвинитель, последовали за ним. Когда Петилий, по наущению Катона, потребовал у Сципиона дать отчет в деньгах, потраченных во время войны против Антиоха, Сципион, явившись по этому поводу в сенат, вынул принесенную им под платьем книгу записей и заявил, что в ней содержится полный отчет всех доходов его и расходов; но когда ему предложили предъявить эту книгу для проверки, он наотрез отказался сделать это, заявив, что не желает подвергать себя такому позору, и собственноручно, перед лицом сенаторов, разорвал книгу в клочья. Я не думаю, чтобы человек с нечистой совестью мог изобразить подобную уверенность. Тит Ливий говорит, что Сципион обладал от природы благородным сердцем, всегда устремленным к слишком высоким целям, чтобы он мог быть преступником или унизиться до того, чтобы защищать свою невиновность.

Изобретение пыток — опасное изобретение, и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины. Утаивает правду и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто не в состоянии сделать это. Действительно, почему боль заставит меня скорее признать то, что есть, чем то, чего нет? И, наоборот, если человек, не совершавший того, в чем его обвиняют, достаточно терпелив, чтобы вынести эти мучения, то почему человек, совершивший это дело, не будет столько же терпелив, зная, что его ждет такая щедрая награда, как жизнь. Я думаю, что это изобретение в основе своей покоится на сознании нашей совести. Ведь виновному кажется, что совесть помогает пытке, понуждая его признать свою вину, и что она делает его более слабым, невинному же она придает силы переносить пытку. Однако, говоря по правде, пытка — весьма ненадежное и опасное средство.

Чего только не наговорит человек на себя, чего он только не делает, лишь бы избежать этих ужасных мук?

*Etiam innocentes cogit mentiri dolor*¹.

¹ Беда заставляет лгать даже невинных (*лат.*).

Вот почему бывает, что тот, кого судья пытал, чтобы не погубить невинного, погибает и невинным и замученным пыткой. Сотни тысяч людей возводили на себя ложные обвинения. К числу их я отношу и Филоту, принимая во внимание условия суда, устроенного над ним Александром, и то, как его пытали.

И тем не менее говорят, что это наименьшее из зол, изобретенных человеческой слабостью! Я, однако, нахожу пытку средством крайне бесчеловечным и совершенно бесполезным. Многие народы, менее варварские в этом отношении, чем греки и римляне, называющие их варварами, считают отвратительной жестокостью терзать и мучить человека, в преступлении которого вы еще не уверены. Чем он ответственен за ваше незнание? Разве это справедливо, что вы, не желая убивать его без основания, заставляете его испытывать то, что хуже смерти? Чтобы хорошенько вникнуть в это, заметьте только, как часто бывает, что испытуемый предпочитает лучше умереть без всяких оснований, лишь бы только не подвергаться этому испытанию, которое хуже казни и нередко своей жестокостью приводит к смерти, предвосхищая казнь. Не помню, откуда я взял этот рассказ, но он дает точное представление о совестливости нашего правосудия. Некая крестьянка обвинила перед полководцем и главным судьей армии одного солдата в том, что он отнял у ее маленьких детей ту малость вареного мяса, которая оставалась у нее для их пропитания, ибо эта армия разграбила все деревни кругом. И действительно, нигде не осталось ни зернышка. Полководец приказал женщине сначала хорошенько обдумать свои слова, ибо она должна будет отвечать за них, если окажется, что это ложное обвинение. Но так как женщина твердо стояла на своем, то он приказал распороть солдату живот, чтобы удостовериться в истине. И тогда убедились, что женщина сказала правду. Поучительное наказание!

ГЛАВА VI

ОБ УПРАЖНЕНИИ

Трудно надеяться, чтобы наш разум и наши знания, сколь бы усердно мы себя им ни вверяли, оказались настолько сильны, чтобы побудить нас к действию, если мы, кроме этого, не упражняем нашу душу и не приучаем ее к деятельности, предназначенной ей нами; в противном случае она может в надлежащий момент оказаться беспомощной. Вот почему те философы, которые стремились добиться более высокого совершенства, не довольствовались тем, чтобы, затаившись в каком-нибудь укрытии, ждать невзгод судьбы, а опасаясь, чтобы они не застали их неподготовленными и непривычными к борьбе, шли им навстречу и намеренно подвергали себя всяким

трудным испытаниям. Одни отказывались от богатства и добровольно обрекали себя на бедность; другие стремились к тяжелой работе и суровым условиям жизни, чтобы закалиться и приучить себя к труду и нужде; некоторые же лишали себя самых ценных частей тела, как, например, глаз или половых органов, боясь, чтобы пользование ими, дающее так много радости и наслаждения, не ослабило и не изнежило их души. Но упражнение не может приучить нас к самому большому делу, которое нам предстоит — к смерти, здесь оно бессильно. Можно путем упражнения и с помощью привычки закалить себя и приобрести стойкость в перенесении боли, стыда, бедности и других подобных горестей; но что касается смерти, то мы можем испытать ее только раз в жизни, и потому все мы являемся новичками, когда подходим к ней.

В древние времена были люди, так превосходно умевшие пользоваться своим временем, что они пытались даже получить наслаждение от самой смерти и заставить свой ум понять, что представляет собой этот переход к смерти; но они не вернулись обратно, чтобы поделиться с нами этими сведениями:

nemo expergitus extat
Frigida quem semel est vitae pausa secuta¹.

Знатный римлянин Каний Юлий, отличавшийся добродетелью и исключительной твердостью, будучи осужден на смерть злодеем Калигулой, кроме многих других поразительных доказательств своего мужества, дал еще следующее. Когда рука палача уже вот-вот должна была опуститься на его голову, один из его друзей, философ, спросил его: «Итак, Каний, как чувствует себя в эту минуту твоя душа? Что она делает? О чем ты думаешь?» «Я стараюсь, — ответил Каний, — быть наготове и напрячь все свои силы, чтобы постараться уловить в течение краткого мгновения смерти, произойдет ли какое-нибудь движение в моей душей ощутит ли она свой уход из тела, с тем чтобы, если я что-нибудь подмечу, потом, по возможности, сообщить об этом моим друзьям». Вот человек, философствующий не только до самой смерти, но и в самый момент смерти. Какой стойкостью надо обладать, какой непоколебимостью духа, чтобы желать извлечь урок из самой своей смерти и быть в состоянии еще думать о чем-то постороннем в такой важный момент!

Ius hoc animi morientis habebat².

¹ Тому не пробудиться, в ком оборвалась и остыла жизнь (лат.).

² Таковую власть он имел над своей умирающей душой (лат.).

И все же мне кажется, что есть какой-то способ приучить себя к смерти и некоторым образом испробовать ее. Хотя наш опыт в этом деле не может быть ни совершенным, ни полным, он во всяком случае может быть небесполезным для нас, придав нам сил и уверенности. Мы не можем погрузиться в смерть, но мы можем приблизиться к ней и рассмотреть ее; и хотя мы не в состоянии путем упражнения дойти в этом деле до конца, во всяком случае мы можем кое-что разглядеть и ознакомиться с подступами к смерти. Ведь не без основания нам предлагают приглядываться даже к нашему сну, ввиду того что он походит на смерть.

Как легко совершается переход от бодрствования ко сну! Как незаметно мы перестаем сознавать себя и окружающее!

Можно было бы, пожалуй, признать сон, лишаящий нас возможности действовать и чувствовать, чем-то ненужным и противоестественным, если бы не то, что с его помощью природа показывает нам, что она предназначила нас в такой же степени для жизни, как и для смерти, и если бы не то, что посредством сна она еще при жизни приоткрывает нам ту вечность, которая ждет нас после этой нашей жизни, для того чтобы приучить нас к ней и освободить нас от страха перед ней.

Но те, кому довелось из-за какого-нибудь несчастного случая лишиться сознания или упасть без чувств, те, по моему мнению, были весьма близки к тому, чтобы увидеть подлинный и неприкрашенный лик смерти; ибо, что касается самого момента перехода от жизни к смерти, то нечего опасаться, что он связан с каким-либо страданием или неприятным ощущением, если учесть, что для того, чтобы почувствовать что-нибудь, нужно какое-то время. Чтобы ощутить страдания, требуется время, а между тем момент смерти столь краток и стремителен, что он неизбежно должен быть безболезненным. У нас есть основания бояться только подготовительных мгновений к смерти, но они-то как раз и поддаются упражнению.

Многие вещи наше воображение рисует нам более ужасными, чем они есть в действительности. Большую часть моей жизни я наслаждался цветущим здоровьем, больше того, силы переполняли меня, они так и бурлили во мне. Это радостное, ликующее ощущение здоровья заставляло меня думать о болезнях с таким ужасом, что, когда мне довелось на деле их испытать, я обнаружил, что они гораздо менее мучительны, что это мне рисовалось под влиянием страха.

Вот что я постоянно испытываю: если ночью, хорошо укутанный, я нахожусь в уютной комнате, в то время как за окнами бушует буря и непогода, я не могу без страха и содрогания думать о тех, кого они застигли в пути; но если в такую минуту я сам нахожусь в дороге, мне и в голову не придет пожелать находиться в каком-нибудь другом месте.

Уже одно то, что быть запертым в четырех стенах, казалось мне не-

стерпимым; но вскоре я научился оставаться в таком положении неделю, даже месяц, изнемогая от боли, лишений и слабости, и тогда я понял, что, когда был здоров, я жалел больных в гораздо большей степени, чем сам заслуживаю сожаления теперь во время своей болезни, и что воображение заставляло меня почти вдвое преувеличивать истинное положение вещей. Надеюсь, что то же случится и тогда, когда я буду умирать, и что не стоит так много хлопотать, суетиться и готовиться к смерти, как это обычно делают люди. Но все же, на всякий случай, никакие меры предосторожности тут не могут быть лишними.

Во время нашей второй или третьей гражданской войны (не могу в точности припомнить, какой именно) я вздумал однажды покататься на расстоянии одного лье от моего замка, расположенного в самом центре происходивших смут. Находясь поблизости от своего дома, я считал себя настолько в безопасности, что не взял с собой ничего, кроме удобного, но не очень выносливого коня. При возвращении случилось неожиданное происшествие, заставившее меня воспользоваться моим конем для дела, к которому он был непривычен. Один из моих людей, человек рослый и сильный, ехавший верхом на коренастом и тугоуздом жеребце, желая выказать отвагу и опередить своих спутников, пустил его во весь опор прямо по той дороге, по которой ехал я, и со всего размаха лавиной налетел на меня и мою лошадь, опрокинув нас своим напором и тяжестью. Оба мы полетели вверх ногами, моя лошадь свалилась и лежала совершенно оглушенная, я же оказался поодаль, в десятке шагов, бездыханный, распростертый навзничь; лицо мое было в сплошных ранах, моя шпага отлетела еще на десяток шагов, пояс разорвался в клочья, я лежал колодой, без движения, без чувств. Это был первый обморок в моей жизни. Мои спутники всеми силами тщетно пытались привести меня в чувство, и, наконец, решив, что я мертв, подняли меня и с огромным трудом на руках перенесли в мой дом, отстоявший примерно в полумиле от места происшествия. По дороге, после того как в течение более двух часов меня считали мертвым, я стал слегка шевелиться и дышать; за это время столько крови попало в мой желудок, что мне необходимо было разгрузиться от нее. Меня поставили на ноги, и из меня вылилось целое ведро крови; и еще несколько раз, пока меня несли, мне пришлось повторить эту операцию. Благодаря этому я начал чуть-чуть оживать, но это происходило так медленно и с такими промежутками, что мои первые ощущения были скорее похожи на смерть, чем на жизнь:

Perche, dubbiosa anchor del suo ritorno,
Non s'assecura attonita la mente¹.

¹ Так как, все еще сомневаясь в своем пробуждении, потрясенный ум не уверен в себе (*um.*).

Это воспоминание, так сильно врезавшееся мне в память и давшее мне возможность увидеть лицо смерти почти вплотную и без прикрас, как-то примирило меня с нею. Когда глаза мои стали что-то разбирать и я стал что-то видеть, я видел так смутно, слабо и как бы в тумане, что сначала я мог различать только свет —

come que ch'or apre or chiude
Gli occhi, mezzo tra'l sonno e l'esser desto¹.

Что касается моих душевных способностей, то они восстанавливались столь же медленно, как и физические. Я видел себя сплошь окровавленным, так как плащ мой весь был пропитан моей кровью. Первой моей мыслью было, что меня ранили из аркебузы в голову, так как в ту пору вокруг нас сильно постреливали. Мне казалось, что жизнь моя держится лишь на кончиках губ; я закрывал глаза, стараясь, как мне представлялось, помочь ей уйти от меня, и мне было приятно изнемогать и отдаваться течению. Это была мысль, еле брезжившая в моем сознании, такая же слабая и зыбкая, как и все остальные, но она не только не была мне неприятна, а напротив, к ней примешивалось то сладостное ощущение, которое бывает, когда мы погружаемся в сон.

Мне сдается, что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агонии людей, и я думаю, что мы напрасно оплакиваем их, считая, что их мучат в это время жестокие боли или что душа их подавлена мрачными мыслями. Я всегда считал, расходясь во мнениях с другими и даже с Этьеном Ла Бюэси, что те, кого мы видим лежащими, так же как и я, ничком и как бы отходящими ко сну в ожидании конца, или те, кто измождены долгими муками или разбиты апоплексическим ударом, или в припадке падучей, —

vi morbi saepe coactus
Ante oculos aliquis nostros, ut fulminis ictu,
Concidit, et spumas agit; ingemit, et fremit artus.
Desipit, extentat nervos, torquelur, anhelat,
Inconstanter et in iactando membra fatigat²,

или те, что ранены в голову, — когда мы слышим, как они иногда вопят и отчаянно стонут, — я всегда считал, повторяю, что их душа и тело спят, окутанные саваном, хотя по некоторым признакам мы

¹ Как тот, кто, одолеваемый сном, то закрывает, то открывает глаза (*ит.*).

² Часто человек, сраженный болезнью, словно от удара молнии, падает на наших глазах с пеной у рта; он стонет и дрожит всем телом, лишен сознания, мышцы его сведены судорогой, он дышит прерывисто и беспорядочными движениями изнуляет свои члены (*лат.*).

и можем уловить, что в них есть еще проблески сознания, и мы еще замечаем какие-то движения их тел:

Vivit, et est vitae nescius ipse suae¹.

Я не могу поверить, чтобы в этом состоянии, когда все тело так пострадало и чувства ослаблены донельзя, у души хватало еще сил сознавать себя; мне кажется поэтому, что у этих людей не остается никакого проблеска мысли, которая бы мучила их и способна была ощутить и уяснить всю тяжесть их положения; из этого следует, что не к чему так уж сильно жалеть их.

Я не представляю для себя лично ничего более невыносимого и ужасного, чем, испытывая живое и острое страдание, не иметь возможности как-либо его выразить. Это можно было бы сказать про тех, кого отправляют на казнь, предварительно отрезав им язык, если бы не то, что для казнимого публично смерть без единого звука — наиболее пристойный исход, при условии, чтобы лицо при этом выражало твердость и достоинство. Вполне применимо сказанное мною к тем несчастным пленникам, которые попадают в руки мерзких палачей — солдат нашего времени, подвергающих их самым жестоким истязаниям с целью выжать из них какой-нибудь баснословный и необыкновенный выкуп, держа их в таких условиях и в таких местах, что они не имеют никакой возможности подать голос, заявить о постигшей их беде.

Поэты придумали некоторых богов, которые будто бы облегчают смерть людям, терпящим такие жестокие муки:

hunc ego Diti
Sacrum iussa fero, teque isto corpore solvo².

Но если окружающие, всячески тормоша таких умирающих и крича им в самое ухо, и могут подчас исторгнуть у них какие-то краткие и бессвязные ответы или уловить какие-то движения, которые как бы выражают согласие на то, о чем их спрашивают, — это еще не доказывает, что такие люди живы, во всяком случае не доказывает, что они вполне живы. Ведь случается же с нами, когда нас клонит ко сну, хоть мы еще не вполне в его власти, что мы ощущаем, как во сне, все, что творится вокруг нас, и отвечаем спрашивающим нас смутным и неопределенным согласием, которое дается почти без сознания; мы даем эти ответы на последние долетевшие до нас слова, ответы случайные и часто бессмысленные.

¹ Он жив, но не сознает этого (лат.).

² По божественному приказу я явилась, чтобы освободить тебя от этого тела (лат.).

Теперь, после того как я сам испытал это состояние, у меня нет никаких сомнений в том, что до сих пор я вполне правильно о нем судил! В самом деле, я прежде всего, еще не приходя в сознание, попытался разорвать свой камзол ногтями (ибо я был без оружия), а между тем я хорошо знаю, что вовсе не представлял себе, будто ранен. Ведь есть столько движений, которые совершаются без нашего ведома:

Semianimesque micant digiti ferrumque retractant¹.

Так, например, при падении люди часто выбрасывают вперед руки, повинувшись естественному побуждению, заставляющему части нашего тела оказывать друг другу помощь, не дожидаясь предписаний нашего разума:

Falciferos memorant currus abscindere membra,
Ut tremere in terra videatur ab artubus id quod
Decidit abscissum, cum mens tamen atque hominis vis
Mobilitate mali non quit sentire dolorem².

Мой желудок переполнен был свернувшейся кровью, и мои пальцы сами устремились к нему, как это часто бывает против нашей воли с нашими руками, когда где-нибудь у нас зудит. У многих животных и даже у людей, когда они уже испустили дух, мышцы все еще продолжают сокращаться и распускаться. Всякий по опыту знает, что есть органы, которые приходят в движение, поднимаются и опускаются часто без нашего ведома. Про эти влечения, которые затрагивают нас лишь чисто внешним образом, нельзя сказать, что это наши влечения, так как для того, чтобы они стали нашими, человек должен быть всецело охвачен ими; нельзя, например, сказать, что боль, ощущаемая рукой или ногой во сне, есть наша боль.

Когда мы уже подъезжали к моему дому, куда успело дойти известие о моем падении, и члены моей семьи с криками, как бывает в таких случаях, выбежали мне навстречу, я не только что-то ответил спрашивавшим, но рассказывают, будто я даже догадался приказать, чтобы подали лошадь моей жене, которая, как я смог заметить, выбивалась из сил, спеша ко мне по очень крутой и каменистой тропинке. Может показаться, что такой приказ должен быть исходить от человека, уже совершенно пришедшего в сознание. Вовсе нет: то были лишь смутные и бессвязные мысли, исходившие от впечатле-

¹ Полуживые пальцы дрожат и опять хватаются за меч (лат.).

² Рассказывают, что снабженные косами колесницы рассекают тела и что можно увидеть валяющиеся на земле отсеченные руки и ноги в то время, как ум и сознание людей еще не в состоянии были почувствовать боли из-за внезапности стремительного удара (лат.).

ний, полученных от зрения и слуха, но не от меня. Я не соображал, ни откуда двигаюсь, ни куда направляюсь; я не в состоянии был разобрать и понять, о чем меня спрашивают; это были очень слабые движения, которые мои чувства производили как бы по привычке; мой разум участвовал в этом сквозь дрему, подвергаясь легчайшему прикосновению, шекотанию со стороны чувств. Между тем мое самочувствие было поистине очень приятным и спокойным: я не испытывал тревоги ни за себя, ни за других, я ощущал какую-то истому и необычайную слабость, но никакой боли. Я видел свой дом, но не узнавал его. Когда меня уложили в постель, я почувствовал несказанное блаженство от этого покоя, так как меня порядком потрясло, пока эти славные люди несли меня на руках по такой плохой и длинной дороге, что им пришлось раза два или три сменить друг друга, чтобы передохнуть. Мне стали насильно давать разные лекарства, но я не принял ни одного из них, так как был убежден, что смертельно ранен в голову. Это была бы поистине очень легкая смерть, ибо из-за бесконечной слабости разум мой не в состоянии был ни о чем судить, а тело ничего не чувствовало. Я тихонько отдался течению, и мне было так легко и спокойно, что, казалось, ничего не могло быть приятнее. Когда, спустя два или три часа, я начал приходить в себя и силы мои стали восстанавливаться,

Ut tandem sensus convaluere mei¹,

я вдруг сразу почувствовал сильнейшие боли, ибо от падения все члены мои были расшиблены и изранены. В течение двух или трех ночей после этого мне было очень плохо, и мне казалось, что я еще раз умираю, но только более мучительной смертью; я еще и сейчас ощущаю страшный удар, полученный при падении. И вот что примечательно: последней мыслью, сохранившейся у меня в сознании, было воспоминание о том, что со мной случилось; но прежде чем понять все как следует, я заставлял по нескольку раз повторять себе, куда я ехал, откуда возвращался, в котором часу со мной это произошло. Что касается обстоятельств моего падения, то от меня их скрывали, не желая выдавать виновника катастрофы, и придумывали для меня все новые и новые объяснения. Некоторое время спустя, уже на следующий день, когда память моя начала восстанавливаться и рисовать мне, в каком состоянии я был в тот момент, когда заметил обрушивающуюся на меня лошадь (ибо я увидел ее у самых ног и подумал, что пришла моя смерть; но эта мысль была так мимолетна, что не успела даже вызвать во мне страх), мне показалось, что меня поразила молния и что я возвращаюсь с того света.

¹ Когда наконец я пришел в себя (*лат.*).

Рассказ об этом малозначительном происшествии мог бы показаться не заслуживающим внимания, если бы не то поучение, которое я извлек для себя из него. Я действительно убедился, что для того, чтобы свыкнуться со смертью, нужно только приблизиться к ней вплотную. Всякий из нас, по словам Плиния, может служить хорошим поучением для самого себя, лишь бы он обладал способностью пристально следить за собой. Рассказывая о случившемся со мной, я не поучаю других, а поучаюсь сам; это урок, извлеченный мною для себя, а не наставление для других.

И не следует ставить мне в укор, что я об этом рассказываю, ибо то, что полезно для меня, может при случае оказаться полезным и для другого. Как бы там ни было, я ничего ни у кого не отнимаю, а только извлекаю пользу из своего добра. А если я говорю глупости, то никто от этого не страдает, кроме разве меня самого; к тому же эти глупости со мной и кончаются, не имея дальнейшего продолжения. Так писали о себе всего лишь два или три древних автора, да и то, не зная о них ничего, кроме их имен, не берусь утверждать, что они писали совершенно в таком духе, как и я. С тех пор никто не шел по их стопам. И неудивительно, ибо проследживать извилистые тропы нашего духа, проникать в темные глубины его, подмечать те или иные из бесчисленных его малейших движений — дело весьма нелегкое, гораздо более трудное, чем может показаться с первого взгляда. Это занятие новое и необычное, отвлекающее нас от повседневных житейских занятий, от наиболее общепринятых дел. Вот уже несколько лет, как все мои мысли устремлены на меня самого, как я изучаю и проверяю только себя, а если я и изучаю что-нибудь другое, то лишь для того, чтобы неожиданно в какой-то момент приложить это к себе или, вернее, вложить в себя. И мне отнюдь не кажется ошибочным, если, подобно тому как это делается в других науках, несравненно менее полезных, чем эта, я сообщаю все добытое мною на этом поприще, хотя и не могу сказать, что доволен успехами, достигнутыми мною до этого времени. Нет описания более трудного, чем описание самого себя, но в то же время нет описания более полезного. Всегда надо хорошенько пообчиститься, придется, привести себя в порядок, прежде чем показаться на людях. Так вот и я постоянно привожу себя в порядок, ибо постоянно занят самописанием. Говорить о себе считается дурной привычкой, решительно осуждаемой из-за оттенка хвастовства, которое обычно кажется неизбежно связанным с рассказами о себе.

Но это значило бы выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка:

In vitium ducit culpaе fuga¹.

¹ Стремление избегнуть ошибки ведет к промаху (*лат.*).

Я нахожу, что такое средство скорее вредно, чем полезно. Но если бы даже было верно, что рассказывать людям о себе есть обязательно тщеславие, то я все же не должен, будучи верен своей основной задаче, подавлять в себе это злосчастное свойство, раз уж оно мне присуще, и утаивать этот порок, который является для меня не только привычкой, но и призванием. Как бы то ни было, говоря по правде, я должен сказать по поводу этого обыкновения, что неправильно осуждать вино за то, что многие напиваются им допьяна. Злоупотреблять можно только хорошими вещами. Осудительное отношение к этому обычаю, по-моему, направлено против широко распространенной слабости. Это узда для коров, которой не связывали себя ни святые, так красноречиво говорившие о себе, ни философы, ни теологи. Не делаю этого и я, хотя и не принадлежу к числу как тех, так других. Хотя они прямо в этом и не признаются, они никогда не упустят случая выставить себя напоказ. О чем больше всего рассуждает Сократ, как не о себе самом? К чему он постоянно направляет мысли своих учеников, как ни к тому, чтобы они говорили о себе, но не на основании вычитанного ими из книг, а на основании движений их собственной души? Мы благоговейно исповедуемся перед Богом и нашим духовником, а наши соседи исповедуются публично. Но мне скажут, что мы исповедуемся только в прегрешениях; на это я отвечу, что мы исповедуемся во всем, ибо сама наша добродетель небезупречна и нуждается в покаянии. Жить — вот мое занятие и мое искусство. Тот, кто хочет запретить мне говорить об этом по моему разумению, опыту и привычке, пусть прикажет архитектору говорить о зданиях не своими мыслями, а чужими, на основании чужих знаний, а не своих собственных. Если говорить о своих качествах есть сомнение, то почему Цицерон не превозносит красноречия Гортензия, а Гортензий — красноречие Цицерона? Пожалуй, кто-нибудь скажет, что лучше было бы, если бы я свидетельствовал о себе делами и творениями, а не одними только словами. Но я изображаю главным образом мои размышления — вещь, весьма неуловимую и никак не поддающуюся материальному воплощению. Лишь с величайшим трудом могу я облечь их в такую воздушную оболочку, как голос. Многие более мудрые и более благочестивые люди прожили жизнь, не совершив никаких выдающихся поступков. Поступки говорят больше о моих удачах, чем обо мне самом. Они свидетельствуют скорее о своей роли, чем о моей, позволяя судить о последней лишь гадательно и очень неточно: всякий раз с какой-либо одной стороны. А тут я выставляю целиком себя напоказ: нечто вроде скелета, в котором с одного взгляда можно увидеть все — вены, мускулы, связки, все в отдельности и на своем месте. А ка-

шель показал бы лишь одну часть картины, внезапная бледность или сердцебиение — другую, да и то не вполне достоверным образом. Тут я описываю не свои движения, а себя, свою сущность. Я считаю, что следует быть осторожным в суждении о себе и равным образом точным в показаниях о себе, независимо от того, делают ли они вслух или про себя. Если бы мне казалось, что я добр и умен или что-нибудь в этом роде, я сказал бы об этом во весь голос. Говорить о себе уничижительно, хуже, чем ты есть на деле, — не скромность, а глупость. Расценивать себя ниже того, что ты стоишь, есть, по словам Аристотеля, трусость и малодушие. Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не покоится на лжи. Говорить о себе, превознося себя, лучше, чем ты есть на деле, не только всегда — тщеславие, но также нередко и глупость. В основе этого порока лежит, по-моему, чрезмерное самодовольство и неразумное себялюбие. Лучшее средство для исцеления от этого порока — делать прямо противоположное тому, что предписывают те, кто, запрещая говорить о себе, тем самым еще строже запрещают о себе думать. Гордыня порождается мыслью, язык может принимать в этом лишь незначительное участие. Запрещающим говорить о себе кажется, что заниматься собой значит любоваться собой, что неотвязно следить за собой и изучать себя значит придавать себе слишком много цены. Это, конечно, бывает. Но такая крайность проявляется только у тех, кто изучает себя лишь поверхностно; у тех, кто обращается к себе, лишь покончив со всеми своими делами; кто считает занятие собой делом пустым и праздным; кто держится мнения, что развивать свой ум и совершенствовать свой характер — все равно что строить воздушные замки; и кто полагает, что самопознание — дело постороннее и третьестепенное.

Если кто-нибудь, оглядываясь на нижестоящих, кичится своей ученостью, пусть он обратит взор к минувшим векам, тогда он сразу смирится, увидев, сколько было тысяч людей, стоявших неизмеримо выше его. А если он преувеличенного мнения о своей доблести, пусть припомнит жизнь обоих Сципионов и стольких армий и стольких народов, до которых ему бесконечно далеко. Никакое особое достоинство не преисполнит гордостью того, кто осознает все великое множество присущих ему несовершенств и слабостей, и вдобавок ко всему — все ничтожество человеческого существования.

Именно потому, что Сократ сумел искренне принять наставление своего бога: «Познай самого себя», и в результате этого самопознания проникся презрением к себе, он удостоился звания мудреца. Тот, кто сумеет таким же образом познать себя, может не бояться говорить о результатах своего познания.

КНИГА ТРЕТЪЯ

ГЛАВА I

О ПОЛЕЗНОМ И ЧЕСТНОМ

Кому не случается сказать глупость? Беда, когда ее высказывают обдуманно.

*Ne iste magno conatu magnas nugas dixerit*¹.

Но в этом я не повинен. Выпаливая свои, я трачу на них не больше усилий, чем они стоят. И это их счастье. Потребуй они от меня хоть чуточку напряжения — я бы тотчас же распрошался с ними. Я покупаю и продаю их только на вес. С бумагой я беседую, как с первым встречным. Лишь бы говорилась правда. Это важнее всего. Кому не отвратительно вероломство, раз даже Тиберий отказался прибегнуть к нему, хоть оно и могло доставить ему великую выгоду? Ему дали знать из Германии, что если он пожелает, то с помощью яда его избавят от Арминия (из всех врагов, какие были у римлян, он был самым могущественным; это он нанес войску Вара столь постыдное поражение, и он один препятствовал распространению их владычества в тех краях). Тиберий ответил, что римский народ привык расправляться с врагами в открытую, с оружием в руках, а не тайком, прибегая к обману. Он отверг полезное ради честного. Это был, скажут мне, лицемер. Полагаю, что так: среди людей его ремесла это не диво. Но признание добродетели не обесценивается в устах ее ненавистника. Тем более, что оно вынуждено у него самой истиной, и если даже он отвергает его в своем сердце, то все же прикрывается им, чтобы приукрасить себя.

Наше устройство — и общественное и личное — полно несовершенств. Но ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность. И нет во вселенной вещи, которая не занимала бы подобающего ей места. Наша сущность складывается из пагубных свойств: честолюбие, ревность, пресыщение, суеверие и отчаяние обитают в нас, и власть их над нами настолько естественна, что подобие всего этого мы видим и в животных: к ним добавляется и столь противо-

¹ Этот человек с великими потугами собирается сказать великие глупости (лат.).

естественный порок, как жестокость, ибо, жалея кого-нибудь, мы при виде его страданий одновременно ощущаем в себе и некое мучительно-сладостное щекотание злорадного удовольствия; его ощущают и дети;

Suave mari magno, turbantibus aequora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem¹;

и кто истребил бы в человеке зачатки этих качеств, тот уничтожил бы основания, на которых зиждется наша жизнь. Так и во всяком государстве существуют необходимые ему должности, не только презренные, но и порочные; порокам в нем отводится свое место, и их используют для придания прочности нашему объединению, как используют яды, чтобы сохранить наше здоровье. И если эти должности становятся извинительными, поскольку они нужны, и общественная необходимость побуждает забыть об их подлинной сущности, то поручать их следует все же более стойким и менее шепетильным гражданам, готовым пожертвовать своей честью и своей совестью, подобно тем мужам древности, которые жертвовали для блага отечества своей жизнью; нам же, более слабым, подобает брать на себя и более легкие и менее опасные роли. Общее благо требует, чтобы во имя его шли на предательство, ложь и беспощадное истребление: предоставим же эту долю людям более послушным и более гибким.

Конечно, меня часто охватывала досада, когда я видел, как судьи, стараясь вынудить у обвиняемого признание, морочили его ложными надеждами на снисхождение или помилование, прибегая при этом к бесстыдному надувательству. И правосудие и Платон, поощрявший приемы этого рода, немало выиграли бы в моих глазах, предложи они способы, которые пришлось бы мне более по душе. Злобой и коварством своим такое правосудие, по-моему, подрывает себя не меньше, чем его подрывают другие. Не так давно я ответил, что едва ли мог бы предать государя ради простого смертного, ибо и простого смертного предать ради государя мне было бы крайне прискормно. Мало того, что мне противно обманывать, — мне противно и тогда, когда обманываются во мне. Я не хочу подавать к этому ни оснований, ни повода.

В немногих случаях, когда мне доводилось в крупных и мелких разногласиях, разрывающих нас ныне на части, посредничать между нашими государями, я всегда старательно избегал надевать на себя маску и вводить кого бы то ни было в заблуждение. Кто набил в этом ремесле руку, тот держится возможно более скрытно и всячески при-

¹ Сладостно наблюдать с берега за бедствиями, претерпеваемыми другими в открытом море, где бушуют гонимые ветром волны (*лат.*).

творяется, что исключительно доброжелателен и уступчив. Что до меня, то я выкладываю мое мнение сразу, без околичностей, на свой собственный лад. Совестьливый посредник и новичок, предпочитающий скорее отступить от дела, чем от самого себя! Так бывало со мной до последнего времени, и мне настолько везло (а ведь удача здесь безусловно самое главное), что мало кто, имея сношения с враждебными станами, вызывал меньше моего подозрений и снискивал столько ласки и дружелюбия. Я всегда откровенен, а это производит благоприятное впечатление и с первого взгляда внушает доверие. Непосредственность и правдивость своевременны и уместны в любой век, каким бы он ни был. К тому же независимость тех, кто действует бескорыстно, не порождает ни особых подозрений, ни ненависти; ведь они с полным правом могут повторить ответ Гиперида афинянам, жаловавшимся на резкость его речей: «Господа, не зачем обсуждать, стесняюсь ли я в выражениях, но следует выяснять, говорю ли я, преследуя свою пользу и извлекая для себя выгоду». Моя независимость легко ограждала меня и от подозрений в притворстве; во-первых, я всегда проявляю твердость и не стесняюсь высказать все до конца, сколь бы дерзкими и обидными мои слова ни были, так что и за глаза я не мог бы высказать ничего худшего; во-вторых, независимость моя всегда выступает в обличье безыскусственности и простоты. Действуя, я не добиваюсь чего-либо сверх того, ради чего я действую; я не загадываю вперед и не строю далеко идущих предположений; всякое действие преследует какую-то определенную цель, — так пусть же, если возможно, оно достигнет ее.

Кроме того, меня не обуревают ни страстная ненависть, ни страстная любовь к великим мира сего, и воля моя не зажата в тиски ни нанесенным ей оскорблением, ни чувством особой признательности. Что касается наших государей, то я почитаю их лишь как подданный и гражданин, и мое чувство к ним свободно от всякой корысти. За это я приношу себе великую благодарность. Даже общему и правому делу я привержен не более чем умеренно, и оно не порождает во мне особого пыла. Я не склонен к всепоглощающим и самозабвенным привязанностям, а также к самопожертвованию: долг справедливости отнюдь не требует от нас гнева и ненависти; это страсти, пригодные только для тех, кто не способен придерживаться своего долга, следуя велениям разума; все законные и праведные намерения по своей сущности справедливы и умеренны, в противном случае они мятежны и незаконны. Это и позволяет мне ходить везде и всюду с высоко поднятой головой, открытым лицом и открытым сердцем.

Говоря по правде, — и я нисколько не боюсь в этом признаться, — я, не смущаясь, поставил бы при нужде одну свечу архангелу Ми-

хаилу, а другую — его дракону, как собиралась сделать одна старая женщина. За партией, отстаивающей правое дело, я пойду хоть в огонь, но только в том случае, если смогу. Пусть Монтень, если в этом будет необходимость, провалится вместе со всем остальным, но если в этом не будет необходимости и он уцелеет, я буду бесконечно благодарен судьбе, и поскольку мой долг вкладывает мне в руку веревку, я пользуюсь ею, помогая Монтеню выстоять. Разве Атик, принадлежа к благонамеренной, но побежденной партии, не спасся при всеобщем крушении, среди стольких потрясений и перемен лишь благодаря своей умеренности?

Для частных лиц, каким он был, это легче, и в таком положении можно с достаточным основанием отбросить честолюбивые помыслы и не вмешиваться по собственной воле не в свое дело. Но колебаться и пребывать в нерешимости, сохранять полнейшую безучастность и безразличие к смутам и междоусобицам в твоём отечестве — нет, этого я не нахожу ни похвальным, ни честным. *Ea non media, sed nulla via est, velut eventum exspectantium quo fortunae consilia sua applicent*¹.

Такая вещь позволительна только по отношению к делам соседей: во время войны варваров с греками Гелон, тиран сиракузский, скрывая, кому он сочувствует, держал наготове посольство с подарками, которому повелел быть начеку и, установив, на чью сторону склоняется счастье, без промедления сойтись с победителем. Поступать так же по отношению к собственным и домашним делам, к которым невозможно отнестись безучастно и о которых нельзя не иметь суждения, было бы своего рода изменой. Но не вмешиваться в эти дела человеку, не занимающему никакой должности и не взявшему на себя поручений, которые побуждали бы его действовать, я нахожу более извинительным (и все же не прибегаю к этому извинению), чем в случае войн с чужеземцами, хотя в них по нашим законам принимают участие только желающие. Однако и те, кто полностью отдается междоусобицам, могут вести себя настолько благоразумно и с такою умеренностью, что грозе придется пронестись над их головой, не причинив им вреда. Не было ли у нас оснований предполагать то же и в отношении покойного епископа Орлеанского, сьера де Морвилье? И среди тех, кто доблестно занимается этим делом и ныне, я знаю людей, чье поведение настолько безупречно и благородно, что они должны устоять на ногах, какие бы бедствия и превратности ни обрушило на нас Небо. Я считаю, что лишь королям пристало распалаться гневом на королей, и потешаюсь над теми ум-

¹ Это не средний путь, это — никакой путь, и таков путь тех, кто ожидает, к какому исходу судьба приведет их замыслы (*лат.*).

никами, которые с готовностью устремляются в столь неравную борьбу; с государем не затевают личной ссоры, когда открыто и смело идут против него ради своей чести и в соответствии со своим долгом; если он не любит подобного человека, он поступает лучше, он уважает его. И в особенности отстаивание законов и защита установившегося порядка содержит в себе нечто такое, что побуждает даже посягающих на него в своих целях извинять, если не чтить, его защитников.

Но не следует называть долгом — а мы это постоянно делаем — внутреннюю досаду и недовольство, порождаемые корыстью и страстями личного свойства, как нельзя называть смелостью предательское и злобное поведение. Такие люди зовут рвением свою склонность к злобе и насилию; не сознание правоты своего дела движет ими, а корысть: они разжигают войну не потому, что она справедлива, но потому, что это — война.

Ничто не мешает поддерживать хорошие отношения с теми, кто враждует между собой, и вести себя при этом вполне порядочно; выказывайте к тому и другому дружеское расположение, пусть не совсем одинаковое, ибо оно допускает различную меру, и уж во всяком случае достаточно сдержанное и не влекущее вас в одну сторону так сильно, чтобы она могла располагать вами по своему усмотрению; и еще: довольствуйтесь скромною мерою их благосклонности и, оказавшись в мутной воде, не норовите ловить в ней рыбку.

Другой способ, а именно: предлагать всего себя и тому и другому, — столь же неразумен, сколь и бессовестен. Уверен ли тот, кому вы предаете другого, равным образом благоволящего к вам, что вы не проделаете в свою очередь того же самого с ним? Он считает вас дурным человеком и, пока слушает ваши речи, использует вас в своих видах и с помощью вашей бесчестности обделывает свои дела, ибо двуличные люди полезны тем, что они могут дать, но надо стараться при этом, чтобы сами они получили как можно меньше.

Я не говорю одному того, чего не мог бы в свое время сказать другому, лишь слегка изменив ударение, и я сообщаю ему вещи либо несущественные, либо общеизвестные, либо такие, которые могут пойти на пользу обоим. Нет такой выгоды, ради которой я позволил бы себе обманывать их. Доверенное моему молчанию я свято храню про себя, но на хранение беру лишь самую малость; ведь беречь тайны государя, которые тебе ни к чему, докучное и тяжелое бремя. Я охотно иду на то, чтобы они доверяли мне только немного, но безоговорочно верили всему, что бы я им ни принес. Я всегда знал больше, чем мне хотелось.

Откровенная речь, подобно вину и любви, вызывает в ответ такую же откровенность.

Филиппид, по-моему, мудро ответил царю Лисимаху, который спросил его: «Что из моего добра желал бы ты получить?» — «Все, что тебе будет угодно, лишь бы то не были твои тайны». Я вижу, что всякий досадует, если от него утаивают самую сущность дела, которое ему поручено, и скрывают какую-нибудь заднюю мысль. Что до меня, то я бываю доволен, когда мне сообщают не больше того, что поручают сделать, и вовсе не жажду, чтобы моя осведомленность лишала меня права говорить и затыкала мне рот. Если я предназначен служить орудием обмана, пусть это будет, по крайней мере, без моего ведома. Я не хочу, чтобы меня принимали за усердного и исполнительного слугу, готового предать все и всех. Кто недостаточно верен себе самому, тому простительно не соблюдать верности и своему господину.

Но ведь именно государи-то и не довольствуются преданностью наполовину и пренебрегают услугами, оказываемыми в определенных границах и на определенных условиях. Этой беде ничем не поможешь; я искренно объявляю им, до каких пределов я с ними, ибо я могу быть только рабом разума, да и то это не всегда мне удастся. Что до них самих, то они неправы, требуя от свободного человека такого же подчинения и такой же покорности, как от того, кого они создали и купили и чья судьба теснейшим и неразрывным образом связана с их судьбой. Законы сняли с меня тягостную заботу: они сами избрали для меня партию и дали мне господина; любая другая власть и прочие обязательства не более чем относительны и должны отступить на второй план. Само собой разумеется, что если чувства увлекут меня в противоположную сторону, я вовсе не должен за ними последовать: воля и желания создают себе собственные законы, но наши поступки должны подчиняться общественным установлениям.

Этот мой образ действий несколько расходится с общепринятым; он не может повести к далеко идущим последствиям и непригоден на длительный срок: даже сама невинность не сумела бы, живя среди нас, обойтись без притворства и вести дела, не прибегая ко лжи. Вот почему общественные обязанности мне не по нраву; все, что требуется от меня моим положением, я неукоснительно выполняю, стараясь делать это по возможности неприметнее. Еще в детстве меня приневолити заниматься делами этого рода, и я неплохо справлялся с ними, постаравшись, однако, избавиться от них как можно скорее. Впоследствии я не раз избегал браться за них, соглашаясь на это лишь изредка, и никогда не стремился к ним, повернувшись спиной к честолюбию; и если я повернул спину не совсем так, как гребцы, продвигающиеся к цели своего плаванья задом, то все же я сделал это настолько, что не погряз в них, хотя обязан этим в мень-

шей степени своей воле, чем благосклонной судьбе. Но существуют пути служения обществу, менее претящие мне и более соразмерные с моими возможностями, и я знаю, что, если бы судьба в свое время открыла мне эти пути ко всеобщему уважению, я пренебрег бы доводами рассудка и последовал ее зову.

Те, кто вопреки моему мнению о себе имеют обыкновение утверждать, будто то, что я в своей натуре называю искренностью, простотою и непосредственностью, на самом деле — ловкость и тонкая хитрость и что мне свойственны скорее благоразумие, чем доброта, скорее притворство, чем естественность, скорее умение удачно рассчитывать, чем удачливость, — не столько бесчестят меня, сколько оказывают мне честь. Но они, разумеется, считают меня чересчур уж хитрым, и того, кто понаблюдал бы за мной вблизи, я охотно признаю победителем, если он не вынужден будет признать, что вся их мудрость не может предложить ни одного правила, которое научило бы воссоздавать такую же естественную походку и сохранять такую же непринужденность и беспечную внешность — всегда одинаковую и невозмутимую — на дорогах столь разнообразных и извилистых; если он не признает также, что все их старания и уловки не сумеют научить их тому же. Путь истины — единственный, и он прост; путь заботящихся о своей выгоде или делах, которые находятся на их попечении, — раздвоен, неровен, случаен. Я нередко сталкивался с поддельной, искусственной непосредственностью, силившейся — чаще всего безуспешно — выдать себя за настоящую. Уж очень напоминает она осла Эзоповой басни, который, подражая собаке, положил от полноты чувств передние ноги на плечи своего хозяина, но в то время как собаку вознаградили за это приветствие ласками, бедному ослу досталось в награду двойное количество палок. *Id maxime quemque decet quod est cuiusque suum maxime*¹. Я не пытаюсь отказывать обману в его правах — это означало бы плохо понимать жизнь: я знаю, что он часто приносил пользу и что большинство дел человеческих существует за его счет и держится на нем. Бывают пороки, считающиеся законными; бывают хорошие или извинительные поступки, которые тем не менее незаконны.

Правосудие как таковое, естественное и всеобщее, покоится на других, более благородных основах, чем правосудие частное, национальное, приспособленное к потребностям государственной власти: *Veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus; umbra et imaginibus utimur*², — так что мудрец Дандамис, вы-

¹ Всякому больше всего подобает то, что больше всего ему свойственно (*лат.*).

² Мы не обладаем твердым и четким представлением об истинном праве и подлинном правосудии; мы довольствуемся тенью и призраками (*лат.*).

слушав прочитанные при нем жизнеописания Сократа, Пифагора и Диогена, счел их людьми великими во всех отношениях, но поработанными своим чрезмерным преклонением перед законами; одобряя законы и следуя им, истинная добродетель утрачивает немалую долю своей изначальной твердости и неколебимости, и много дурного творится не только с их разрешения, но и по их настоянию. *Ex senatusconsultis plebisquescit scelera exercentur*¹. Я следую общепринятому между людьми языку, а он проводит различие между полезным и честным, называя иные естественные поступки, не только полезные, но и насущно необходимые, грязными и бесчестными.

Но остановимся на одном примере предательства. Два претендента на фракийское царство затеяли спор о своих правах на него. Император помешал им прибегнуть к оружию. Тогда один из них, делая вид, будто жаждет дружеского соглашения с соперником, которое может быть достигнуто при личном свидании, пригласил его к себе на пир и, когда тот прибыл к нему, повелел схватить его и убить. Справедливость требовала от римлян, чтобы они покарали столь гнусное злодеяние, но сделать это обычным путем им мешали препятствия всякого рода, и так как тут нельзя было обойтись без войны и без риска, они не побрезговали предательством. Ради полезного они пошли на нечестное. Подходящим человеком для этого оказался некий Помпоний Флакк; прикрываясь лживыми речами и уверениями, он завлек преступника в расставленные ему силки и, вместо обещанного почета и милостей, заковал его в цепи и отослал в Рим. Один предатель предал другого, что случается не так уже часто, ибо они настолько исполнены недоверия ко всему и ко всем, что поймать их при помощи применяемых ими же уловок — дело нелегкое, и мы это испытали на печальном опыте недавнего прошлого.

Пусть, кто хочет, делается Помпонием Флакком — таких, кто захотел бы сделаться им, сколько угодно. Что до меня, то и моя речь и моя честность и все остальное во мне составляют единое целое; их высшее стремление — служить обществу; я считаю это непреложным законом. Но если бы мне приказали взять на себя обязанности судьи и заниматься разбором тяжб, я бы ответил: «Я ничего в этом не смыслю»; или обязанности начальника землекопов, роющих траншеи для войска, я бы сказал: «Я призван к более достойной роли»; равным образом, и тому, кто пожелал бы воспользоваться мною для лжи, предательства и вероломства, ожидая от меня какой-нибудь важной услуги, или для убийства и отравления негодных ему людей, я бы сказал: «Если я кого-нибудь обокрал или ограбил, отправьте ме-

¹ На основании постановлений сената и решений народа творятся преступления (лат.).

ня немедленно на галеры». Ибо честному человеку позволительно говорить в том же духе, в каком говорили лакедемоняне с нанесшим им поражение Антипатром, когда обсуждали с ним условия мира: «Ты можешь навязать нам любые, какие только ни пожелаешь, тяжелые и разорительные повинности, но навязывать постыдные и бесчестные — и не пытайся: ты зря потеряешь время». Всякий должен дать себе самому такую же клятву, какую египетским царям торжественно давали назначаемые ими судьи, а именно, что они не пойдут наперекор своей совести даже по царскому повелению. Мы откровенно презираем и осуждаем поручения известного рода; кто возлагает на нас подобные поручения, тот тем самым выносит нам приговор и, если мы способны это понять, налагает на нас тяжкий груз и оковы. Насколько общественные дела улучшаются в таких случаях благодаря вашему участию в них, настолько же ухудшаются ваши; чем лучше вы выполняете подобное поручение, тем больший ущерб наносите самому себе. И вовсе не будет внове, а порой, пожалуй, в какой-то мере и справедливо, если вас покарает за ваши услуги тот же, кто использовал вас в своих целях. Вероломство может быть иногда извинительным; но извинительно оно только тогда, когда его применяют, чтобы наказать и предать вероломство.

Известно сколько угодно предательств, которые были не только отвергнуты, но и наказаны теми, в чьих интересах они предпринимались. Кто не знает приговора Фабриция врачу Пирра? Но бывало и так, что повелевший совершить предательство сам же и расправлялся с тем, кого он использовал, ибо он перестал доверять предателю и не хотел оставлять за ним столь непомерной власти и ему становились омерзительны раболепие и покорность, столь безграничные и столь подлые.

Ярополк, великий князь Русский, подкупил одного венгерского дворянина, поручив ему предательски умертвить польского короля Болеслава или, по меньшей мере, предоставить русским возможность причинить ему какой-нибудь существенный вред. Этот дворянин, ведя себя, как подобает честному человеку, стал с еще большим усердием служить польскому королю и сделался членом его совета и одним из самых близких к нему людей. Добившись этого высокого положения, он дождался удобного случая и в отсутствие своего государя впустил русских в Вислицу, большой и богатый город, который они разграбили и сожгли дотла, перебив при этом без различия пола и возраста не только всех его обитателей, но и большое число окрестных дворян, вызванных в город предателем именно ради этого. Ярополк, утолив жажду мщения и удовлетворив гнев, который не был, впрочем, безосновательным (ибо и Болеслав нанес ему тяжкое оскорбление, сделав с ним приблизительно то же), и пресытившись

плодами упомянутого предательства, увидел его ничем не прикрытую гнусность; рассмотрев его холодным и трезвым, не смущенным больше страстями взглядом, он почувствовал такие угрозы совести и такое раскаяние, что приказал выколоть глаза и отрезать язык и срамные части тому, кто был непосредственным виновником происшедшего.

Антигон убедил воинов аргираспидов предать в его руки Евмена, их верховного военачальника и его противника; но едва они его выдали и он повелел его умертвить, как ему вздумалось стать вершителем божественного возмездия и покарать столь подлое преступление: отослав предателей к правителю этой провинции, он строгонастрого наказал ему погубить и истребить их любыми способами. И вышло так, что из большого числа этих воинов ни один не ступил больше на македонскую землю. Чем лучше они ему послужили, тем отвратительнее в его глазах был их поступок и тем строже надлежало их наказать.

Раб, открывший убежище, где скрывался его господин Публий Сульпиций, немедленно получил свободу, как было предусмотрено в проскрипциях Суллы, но, став свободным, был тотчас же сброшен с Тарпейской скалы, что было предусмотрено законами государства. Таких предателей вешали с кошельком на шее, в котором была их плата. Воздав должное частной и ограниченной справедливости, воздавали вслед за тем должное и справедливости как таковой.

Махмуд Второй, видя в своем младшем брате возможного соперника и желая по этой причине избавиться от него — дело в их роду обычное, — воспользовался услугами одного из своих приближенных военачальников, который и удушил Махмудова брата, заставив его проглотить сразу слишком много воды. После того как с этим было покончено, Махмуд во искупление столь предательского убийства выдал убийцу матери покойного (они были братьями только по отцу); она же, в его присутствии, собственными руками вспоролла убийце живот и, нащупав сердце, вырвала его еще дымящимся и трепещущим и бросила на съедение псам.

И наш король Хлодвиг приказал повесить троих слуг Канакра, предавших ему своего господина и ради этого подкупленных им.

Да и отъявленным злодеям, после того как они извлекли выгоду из какого-нибудь бесчестного поступка, бывает очень приятно пристегнуть к нему с полной уверенностью в успехе что-нибудь свидетельствующее об их справедливости и доброте и о том, что их якобы мучит совесть и они хотят ее облегчить.

К этому нужно добавить, что сильные мира сего смотрят на исполнителей столь отвратительных злодеяний как на людей, изобличающих их в преступлении. И они стараются уничтожить их, чтобы

устранить свидетелей против себя и замести, таким образом, следы своих происков.

Если при случае они все же вознаграждают вас за совершенное вами предательство, дабы общественная необходимость не была лишена этого отчаянного и крайнего средства, тот, кто делает это, не перестает считать вас — если только он сам не таков — законченным мерзавцем и висельником, и в его глазах вы еще больший предатель, чем в глазах вашей жертвы, ибо он измеряет низость вашей души по вашим рукам, а они беспрекословно ему повинуются и ни в чем не отказывают. Использует же он вас совсем так же, как пользуются отпетыми негодяями при совершении казней, — их обязанности столь же полезны, сколь малопочтенны. Подобные поручения, не говоря уже об их гнусности, растлевают и развращают совесть. Дочь Сеяна, которую римские судьи не могли наказать смертью, так как она была девственница, сначала была обещана палачом, дабы законы не потерпели ущерба, и лишь после этого удушена им; не только руки его, но и его душа — рабы государственной власти, располагающей ими по своему усмотрению.

Когда Мурад Первый, желая усугубить тяжесть наказания тех из своих подданных, которые оказали поддержку его мятежному сыну, — а тот задумал не что иное, как отцеубийство, — повелел их ближайшим родственникам собственноручно совершить над ними казнь, некоторые предпочли быть несправедливо обвиненными в содействии чужому отцеубийству, чем стать орудиями убийства своих родичей, и я нахожу, что они поступили в высшей степени честно. И когда уже в мое время в кое-каких взятых приступом городишках мне доводилось встречать негодяев, которые, чтобы спасти свою жизнь, соглашались вешать своих друзей и товарищей, я неизменно считал, что судьба их — еще более жалкая, чем судьба тех, кого они вешали.

Рассказывают про Витовта, князя Литовского, что им некогда был издан закон, согласно которому осужденные на смерть преступники должны были самолично исполнять над собой приговор, ибо он не постигал, как это ни в чем не повинные третьи лица могут привлекаться и понуждаться к человекоубийству.

Если крайние обстоятельства или какое-нибудь чрезвычайное и непредвиденное событие, угрожающее существованию государства, заставляют государя изменить своему слову и обещаниям или как-нибудь по-иному нарушить свой долг, он должен рассматривать подобную необходимость как удар бича Божьего; порока тут нет, ибо он отступает от своих принципов ради общеобязательного и высшего принципа, но это, конечно, несчастье, и столь большое несчастье, что тому, кто меня спрашивал: «Что же тут поделаешь?» — я

ответил: «Ничего поделывать нельзя. Если он и вправду оказался зажатым в тиски этими двумя крайностями (*sed videat ne quaeratur latebra regiugio*¹), ему следовало поступить именно так, как он поступил; но если он сделал это без горечи, если ему не был тягостен его шаг, это верный признак того, что он не в ладах со своей совестью».

Найдись среди государей кто-нибудь с такой щепетильной совестью, что даже полное исцеление от всех зол не могло бы примирить его со столь отчаянным средством, то и в этом случае я не стал бы его порицать. Он не мог бы погибнуть более извинительным и пристойным образом. Мы не всеильны; ведь так или иначе нам часто приходится препоручать наш корабль Божественному промыслу, видя в нем якорь спасения. Что же более насущно необходимое может совершить государь? Разве не наименее возможное для него то, что он может сделать лишь ценою утраты доверия к его слову и за счет своей чести — а слово и честь должны быть ему, пожалуй, дороже его собственного благополучия, больше того — благополучия его подданных? И если, пребывая в полном бездействии, он попросту вззовет к помощи Бога, не будет ли у него оснований надеяться, что благодать Господня не откажется поддержать своей милостивой рукой руку праведную и чистую?

Случаи, когда государям приходится нарушать свой долг, — дурные и гибельные примеры; они представляют собою редкие и печальные исключения из наших естественных правил. Здесь надо уступать обстоятельствам, но возможно умереннее и с оглядкой; никакая личная выгода не оправдывает насилия, совершаемого нами над нашей совестью; общественная — дело другое, но и то лишь тогда, когда она вполне очевидна и очень существенна.

Тимолеон смыл чудовищность совершенного им слезами, которые пролил, вспоминая о том, что убитый его рукою тиран — родной брат ему; и его совесть была справедливо смущена тем, что общественная польза могла быть достигнута лишь ценою его бесчестия. Даже сенат, освобожденный Тимолеоном от рабства, и тот не осмелился вынести окончательное решение относительно этого высокого подвига и разделился в этом вопросе на два несогласных между собой и противостоящих друг другу стана. Случилось, однако, что как раз в это самое время прибыли послы от сиракузцев к коринфянам с мольбой о защите и покровительстве и с просьбой направить к ним полководца, способного возратить их городу былое величие и очистить Сицилию от различных угнетавших ее мелких тиранов, и сенат отправил туда Тимолеона. Воспользовавшись этим новым предложением, сенат заявил, что приговор по делу Тимолеона будет вынесен

¹ Но пусть он не ищет оправданий для своего клятвopеступления (*лат.*).

в соответствии с тем, хорошо или дурно он будет вести себя, выполняя свое поручение, и что его ждет либо милость, подобающая освободителю родины, либо немилость, подобающая братоубийце. При всей несообразности такого решения его можно в известной степени извинить ввиду опасности показанного Тимолеоном примера и важности возложенного на него дела. И сенат поступил правильно, отложив свой приговор и стремясь найти для него опору со стороны, в соображениях, не имеющих прямого касательства к самому делу. И что же! поведение Тимолеона во время этого путешествия вскоре пролило дополнительный свет на сущность его деяния — так достойно и доблестно вел он себя в любых обстоятельствах; да и удача, сопутствовавшая ему во всем, несмотря на трудности, которые ему пришлось преодолеть при выполнении своего благородного дела, была ниспослана, казалось, самими богами, сговорившимися споспешествовать его оправданию.

Цель Тимолеона, убившего брата-тирана, оправдывает его, если вообще такое деяние может быть оправдано. Но стремление увеличить государственные доходы, толкнувшее римский сенат принять то бессовестное решение, о котором я намерен сейчас рассказать, не настолько возвышенно, чтобы оправдать явную несправедливость.

Несколько городов, внеся денежный выкуп, с разрешения и по указу сената получили от Суллы свободу. Этот вопрос был подвергнут новому обсуждению, и сенат объявил, что они должны вносить налоги по-прежнему, деньги же, выплаченные ими в качестве выкупа, не подлежат возвращению. Гражданские войны преподносят нам на каждом шагу столь же отвратительные примеры коварства, ибо мы наказываем ни в чем не повинных людей только за то, что они верили нам, когда мы сами были иными, и должностное лицо налагает наказание за перемену в своих взглядах на тех, кто в этом несколько не виноват: учитель порет ученика за его покорность, поводырь — следующего за ним по пятам слепца. Гнуснейшее подобие правосудия! И философия также не свободна от правил ложных и уязвимых. Пример, который нам приводят в доказательство того, что личная выгода может брать порой верх над данным нами словом, не кажется мне достаточно веским, несмотря на примешивающиеся сюда обстоятельства. Вас схватили разбойники и затем отпустили на волю, связав предварительно клятвою, что вы заплатите им определенную мзду; глубоко неправ тот, кто утверждает, будто порядочный человек, вырвавшись из их рук, свободен от своего слова и может не платить обещанных денег. Он никоим образом от него не свободен. То, что я пожелал сделать, побуждаемый страхом, я обязан сделать и избавившись от него, и даже если он принудил к подобному обещанию мой язык, а не волю, я все равно должен соблю-

сти в точности мое слово. Что до меня, то я всегда совестился отрекаться от своего слова даже тогда, когда оно неосторожно слетало у меня с уст, опередив мысль. Иначе мы мало-помалу сведем на нет права тех, кому мы даем клятвы и обещания. *Quasi vero fortis viro vis possit adhiberi*¹. Личные соображения могут считаться законными и извинять нас при нарушении нами обещанного лишь в одном-единственном случае, а именно, если мы обещали что-нибудь само по себе несправедливое и постыдное, ибо права добродетели должны стоять выше прав, вытекающих из обязательств, которыми мы связали себя.

Я поместил когда-то Эпаминонда в первом ряду лучших людей и не отступаю от этого. До чего же возвышенно понимал он свой долг, он, который ни разу не убил ни одного побежденного и обезоруженного им в схватке; который не позволял себе даже ради бесценного блага — возвращения свободы отчизне — предать смерти без соблюдения всех форм правосудия какого-нибудь тирана или его приспешника; который считал дурным человеком того, кто, будучи даже безупречным гражданином, не щадил в пылу битвы, среди врагов, своего друга или того, с кем его связывали узы гостеприимства! Вот душа, и впрямь отлитая из драгоценного сплава! Он вносил в самые жестокие и необузданные человеческие деяния доброту и человечность, притом доведенную до такой степени утонченности, какая известна лишь самым человечным из философских учений. От природы ли была так чувствительна его душа, суровая, гордая и негибкая в борьбе со страданием, смертью и бедностью, или ее смягчило самовоспитание, но она стала на редкость нежной и отзывчивой. Грозный, с мечом в руке и залитый кровью, он идет в бой, сокрушая и уничтожая мощь народа, непобедимого в схватке со всеми, кроме него, но старательно уклоняется в сумятице и гуще жестокой битвы от встречи с другом или с тем, с кем его связывали узы гостеприимства. И он был поистине достоин повелевать на войне, ибо в самом пылу ее, в самом яром пламени, в неистовстве кровопролития способен был ощущать укоры доброго сердца. Ведь это чудо — уметь вкладывать в такие дела хотя бы малую толику справедливости, и только самообладание Эпаминонда могло примешивать к ним кротость и снисходительность самых мягких нравов и душевную чистоту. И в то время как один полководец сказал мамертинцам, что статуты ни в какой мере не распространяются на вооруженных людей, а другой в разговоре с народным трибуном — что одно время для правосудия, а другое для войны, а третий — что звон оружия мешает ему слышать голос законов, Эпаминонду ничто ни-

¹ Словно насилие может повлиять на подлинно храброго человека (*лат.*).

когда не мешало слышать голоса учтивости и безупречной любезности. Не позаимствовал ли он у своих врагов обычай совершать, идя на войну, жертвоприношения музам, дабы их прелесть и жизнерадостность смягчали присущую воину ярость и беспощадную жестокость?

Так не будем же, следуя в этом столь великому учителю и наставнику, опасаться отстаивать мысль, что есть кое-какие вещи, непопозволенные даже в отношении наших врагов, и что общественные интересы отнюдь не должны требовать всего от всех в ущерб интересам частным, *manente memoria etiam in dissidio publicorum foederum privati iuris*¹;

et nulla potentia vires
Praestandi ne quid peccet amicus, habet²;

а также, что вовсе не все может позволить себе порядочный человек, служа своему государю, или общему благу, или законам. *Non enim patria praestat omnibus officiis, et ipsi conducit pios habere cives in parentes*³. Это самое что ни на есть подходящее наставление для нашего времени; нам незачем прикрывать наши души стальными пластинами — довольно того, что ими прикрыты наши плечи, и достаточно обмакивать наши перья в чернила, незачем макать их в кровь. И если презирать дружбу, личные обязательства, данное тобой слово и узы родства, принося все это в жертву общественному благу и повиновению власти, означает выказывать величие души и проявлять редкостную и исключительную доблесть, то, весьма вероятно, — скажем это себе в извинение — такое величие не могло бы ужиться с душевным величием Эпаминонда.

Мне внушают глубокое отвращение яростные призывы, исходящие от некой совсем иной, лишенной всяких нравственных устоев души:

dum tela micant, non vos pietatis imago
Ulla, nec adversa conspecti fronte parentes
Commoveant: vultus gladio turbate verendos⁴.

Не дадим же душам от природы злобным, коварным и кровожадным прикрываться личиной разума; забудем о таком правосудии, неисто-

¹ Даже при расторжении государственных договоров памятью о правах частных лиц (*лат.*).

² И никакая власть не в силах предотвратить, чтобы [твой] друг не совершил какого-нибудь проступка (*лат.*).

³ Ведь родина не заслоняет от нас всех остальных наших обязанностей, и ей самой выгодно иметь граждан, почитающих родителей (*лат.*).

⁴ Пока сверкает обнаженное оружие, пусть вас не трогает ни воспоминание о милосердии, ни представший пред вами образ ваших родителей; отгоняйте своим мечом лица, внушающие вам благоговейную почтительность (*лат.*).

вом, одержимом, и будем подражать в своих действиях тому, что более свойственно человеку. Но как, однако, различны являемые нами в разное время примеры! В одной из битв гражданской войны против Цинны некий воин Помпея убил своего брата, не узнав его между врагами, и тут же от стыда и отчаяния наложил на себя руки; а спустя несколько лет, во время новой гражданской войны, которую вел тот же народ, другой солдат, убив брата, потребовал от своих начальников награду за это.

Мерилом честности и красоты того или иного поступка мы ошибочно считаем его полезность и отсюда делаем неправильный вывод, будто всякий обязан совершать такие поступки и что полезный поступок честен для всякого:

Omnia non pariter rerum sunt omnibus apta¹.

Обратимся к самому насущному и полезному из всего, что известно в человеческом обществе, — я имею в виду вступление в брак; но вот Собор Святых отцов находит, что не вступать в брак более честно, и запрещает его по этой причине наиболее почитаемому нами сословию; да и мы отдаем в табун только тех лошадей, которых считаем менее ценными.

ГЛАВА II

О РАСКАЯНИИ

Другие творят человека; я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Штрихи моего наброска нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения необычайно разнообразны. Весь мир — это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, — и качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость — и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет наугад и пошатываясь, хмельной от рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он предо мной в то мгновение, когда занимает меня. И я не рисую его пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении, и не в

¹ Не все одинаково пригодно для всех (*лат.*).

движении от возраста к возрасту или, как говорят в народе, от семилетия к семилетию, но от одного дня к другому, от минуты к минуте. Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться, и не только произвольно, но и намеренно. Эти мои писания — не более чем протокол, регистрирующий всевозможные пронсящиеся вереницей явления и неопределенные, а иногда и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил Демад, я не противоречу никогда. Если б моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои не были бы столь робкими и я был бы решительнее, но она все еще пребывает в учении и еще не прошла положенного ей искуса.

Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска, что, впрочем, одно и то же. Вся моральная философия может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой, как и к жизни более содержательной и богатой событиями: у каждого человека есть все, что свойственно всему роду людскому.

Авторы, говоря о себе, сообщают читателям только о том, что отмечает их печатью особенности и необычности; что до меня, то я первый повествую о своей сущности в целом, как о Мишеле де Монтене, а не как о филологе, поэте или юристе.

Если людям не нравится, что я слишком много говорю о себе, то мне не нравится, что они занимаются не только собой.

Но разумно ли, что при сугубо частном образе жизни я притязая на общественную известность? И разумно ли преподносить миру, где форма и мастерство так почитаемы и всеильны, сырые и нехитрые продукты природы, и природы к тому же изрядно хилой? Сочинять книги без знаний и мастерства не означает ли то же самое, что класть крепостную стену без камней, или что-либо в этом же роде? Воображение музыканта направляется предписаниями искусства, мое — прихотью случая. Но применительно к науке, которая меня занимает, за мной, по крайней мере, то преимущество, что никогда ни один человек, знающий и понимающий свой предмет, не рассматривал его доскональнее, чем я — свой, и в этом смысле я самый ученый человек изо всех живущих на свете; во-вторых, никто никогда не проникал так глубоко в свою тему, никто так подробно и тщательно не исследовал всех ее частных и существующих между ними связей и никто не достигал с большей полнотой и завершенностью цели, которую ставил себе, работая. Чтобы справиться с нею, мне потребна только правдивость; а она налицо, и притом самая искренняя и полная, какая только возможна. Я говорю правду не все-

гда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь, а с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычаи, кажется, предоставляет старикам большую свободу болтать и, не впадая в нескромность, говорить о себе. Здесь не может произойти то, что происходит, как я вижу, довольно часто, а именно, что сочинитель и его труд несоразмерны друг другу: как это человек, столь разумный в речах, написал столь нелепое сочинение? Или каким образом столь ученые сочинения вышли из-под пера человека, столь немощного в речах?

Если у кого-нибудь речь обыденна, а сочинения примечательны — это значит, что дарования его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом. Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, но способный — способен во всем, даже пребывая в невежестве.

Здесь мы идем вровень и всегда в ногу — моя книга и я. В других случаях можно хвалить или, наоборот, порицать работу независимо от работника; здесь — это исключено: кто касается одной, тот касается и другого. Кто возьмется судить о работе, не зная работника, тот причинит больше ущерба себе, нежели мне; кто предварительно узнает его, тот сполна удовлетворит меня. Но я буду сверх меры счастлив, если получу общественное одобрение хотя бы только за то, что дал почувствовать мыслящим людям свое умение с толком употреблять мои знания — если таковые у меня есть, — доказал им, что я стою того, чтобы память служила мне лучше.

Прошу меня извинить за слишком частые упоминания о том, что я редко раскаиваюсь в чем бы то ни было и что моя совесть в общем довольна собой, не так, как совесть ангела или, скажем, лошади, но так, как может быть довольна собой человеческая совесть; я постоянно повторяю нижеследующие слова не как пустую формулу вежливости, а как нечто, идущее от непосредственного ощущения мною своей ничтожности: все, что я говорю, я говорю как ищущий и не ведающий, бесхитростно и с чистой душой опираясь на общераспространенные и законные верования. Я отнюдь не поучаю, я только рассказываю.

Настоящим пороком нужно считать только такой, который оскорбляет сознание человека и безоговорочно осуждается человеческим разумом, ибо его уродство и вредоносность до того очевидны, что правы, пожалуй, те, кто утверждает, будто он является порождением, в первую очередь, глупости и невежества. Трудно представить себе, чтобы, познакомившись с ним, можно было бы не возненавидеть его. Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им. Подобно тому, как язва на теле оставляет после себя рубец, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое, постоянно кровоточа, не дает нам покоя. Ибо рассудок, успокаивая другие печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего,

так как она точит нас изнутри; ведь жар и озноб, порожденные лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи. Я считаю пороками (впрочем, каждый из них измеряется своей меркой) не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными и ошибочными, если законы и обычай подтверждают такую оценку.

Нет, равным образом, ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести. Прочная, но смелая и решительная душа может, при случае, обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворение и удовольствие этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение — чувствовать себя огражденным от заразы, распространяемой столь порочным веком, и говорить себе самому: «Кто заглянул бы мне в самую душу, тот и тогда не обвинил бы меня ни в несчастии и разорении кого бы то ни было, ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова; и хотя разнузданность нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда жил за счет своего собственного, как на войне, так и в мирное время, и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты». Подобные свидетельства совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, — великое благодеяние для души.

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и непрочно. А в наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Упаси меня Бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет во славу самому себе. *Quae fuerant vitia, mores sunt*¹.

Иные мои друзья по личному ли побуждению, или вызванные на это мною, не раз принимались с полной откровенностью журить и бранить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбою. Я всегда встречал эти упреки с величайшей терпимостью и искреннейшей признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях

¹ Что было пороками, то теперь нравы (*лат.*).

и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагаю, ошибки, предпочитая впадать в ошибки, чем проявлять благоразумие на их лад. Нашему брату, живущему частною жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предуказанной мне другими, но, давая себе волю, руководствуюсь лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим. *Tuo tibi iudicio est utendum*¹. *Virtutis et vitiorum grave ipsius conscientiae pondus est: qua sublato, iacent omnia*².

Хотя и говорят, что раскаяние следует по пятам за грехом, мне кажется, что это не относится к такому греху, который предстает перед нами в гордом величии и обитает в нас, как в собственном доме. Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым нас влекут страсти, но пороки, укоренившиеся и закосневшие вследствие долгой привычки в душе человека с сильной, несгибаемой волей, не допускают противодействия. Раскаяние представляет собой не что иное, как отречение от нашей собственной воли и подавление наших желаний, и оно проявляется самым различным образом. Так, оно может заставить человека сожалеть о своей былой добродетели и стойкости:

*Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit?
Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?*³

Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем безупречна.

Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека; но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, — вот поистине вершина возможно-

¹ Тебе надлежит руководствоваться собственным разумом (*лат.*).

² Собственное понимание добродетели и пороков — самое главное. Если этого понимания нет, все становится шатким (*лат.*).

³ Почему у меня в детстве не было того же образа мыслей, что сейчас? Или почему при моем теперешнем умонастроении мои щеки не становятся снова гладкими (*лат.*).

го. Ближайшая ступень к этому — быть таким же у себя дома, в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать кому-либо отчет и где свободны от искусственности и от притворства. И вот Биант, изображая идеальный семейный уклад, говорит, что глава семьи должен быть в лоне ее по своему личному побуждению таким же, каков он и вне ее из страха перед законами и людскими толками. А Юлий Друз весьма достойно ответил работникам, предлагавшим за три тысячи экю переделать его дом таким образом, чтобы соседи не могли видеть, как прежде, что происходит за его стенами; он сказал: «Я не пожалею и шести тысяч, но сделайте так, чтобы всякий со всех сторон видел его насквозь». С уважением отмечают обыкновение Агесилая останавливаться во время разездов по стране в храмах с тем, чтобы люди и самые боги наблюдали его частную жизнь. Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жены их, ни слуги не видели в них ничего замечательного. Лишь немногие вызывали восхищение своих близких.

Как подсказывает опыт истории, никогда не бывало пророка не только у себя дома, но и в своем отечестве. То же и в мелочах. Нижеследующий ничтожный пример воспроизводит все то, что можно было бы показать и на примерах великих. Под небом моей Гаскони я слышу чудачком, так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше от своих родных мест, тем больше я значу в глазах знающих обо мне. В Гиени я покупаю у книгоиздателей, в других местах — они покупают меня. На подобных вещах и основано поведение тех, кто, живя и пребывая среди своих современников, таится от них, чтобы после своей смерти и исчезновения завоевать себе славу. Что до меня, то я не гонюсь за ней. Я жду от мира не больше того, что он мне уделит. Таким образом, мы с ним в расчете.

Иного восхищенный народ провожает с собрания до дверей его дома; но вместе с парадной одеждой он расстается и с ролью, которую только что исполнял, и падает тем ниже, чем выше был вознесен: в глубине его души все нелепо и отвратительно, и даже если в нем господствует внутренний лад, нужно обладать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его привычных и ничем не примечательных поступках, в его обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность — мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в брешь, стоять во главе посольства, править народом — все эти поступки окружены блеском и обращают на себя внимание всех. Но бранить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать с близкими и с собою самим мягко и всегда соблюдая справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой — это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающей в уедине-

нии, что бы ни говорили на этот счет, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни, не замыкающейся в себе. И частные лица, говорит Аристотель, служат добродетели с большими трудностями и более возвышенным образом, нежели те, кто занимает высокие должности. Мы готовимся к выдающимся подвигам, побуждаемые больше жаждою славы, чем своей совестью. Самый краткий путь к завоеванию славы — это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы. И доблесть Александра, явленная им на его поприще, намного уступает, по-моему, доблести, которую проявил Сократ, чье существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он несомненно сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные познания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем.

Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном.

Как те, кто судит о нас, проникая в глубины нашей души, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимая, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из топкой и илистой почвы, так и те, кто судит о нас по нашему внешнему великолепию, заключают, исходя из него, и о нашей внутренней сущности, ибо в их сознании никак не укладывается, что обычные людские свойства, такие же, как их собственные, совмещаются в нас с теми другими качествами, которые вызывают их удивление и так недостижимы для них. По этой причине мы и придаем бесам звериный облик. Кто же способен представить себе Тамерлана иначе, как с нахмуренными бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и неправдоподобно могучим станом, таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славою этого имени воображение. И если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случай увидеть Эразма, мне было бы трудно не счесть афоризмом и апофтегмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке.

Мы гораздо легче можем представить себе восседающим на стульчаке или взгромоздившимся на жену какого-нибудь ремесленника, нежели вельможу, внушающего почтение своею осанкой и неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы обыденной жизни.

Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь побуждения извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельные — по той же причине — зло. Таким образом, судить о них следует лишь тогда, когда они в устойчивом состоянии, когда они в ладу сами с собой, если это порой с ними случается, или, по крайней мере, когда они относительно спокойны и ближе к своей естественной непосредственности. Природные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя. Тысячи характеров в мое время обратились к добродетели или к пороку, хоть и были наставлены в противоположных правилах:

Sic ubi desuetae silvis in carcere clausae
Mansuevere ferae, et vultus posuere minaces,
Atque hominem didicere pati, si torrida parvus
Venit in ora cruor, redeunt rabiesque furorque,
Admonitaeque tument gustato sanguine fauces;
Fervet, et a trepido vix abstinet ira magistro¹.

Эти врожденные свойства искоренить невозможно; их прикрывают, их прячут, но не больше. Латинский язык для меня как родной; я понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за мою жизнь и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесенные мною слова были латинскими: природа сама собой пробивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке. И этот пример может быть подкреплён множеством других.

Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в мое время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки; что же касается настоящих пороков, они их не затрагивают, если только не усиливают и не умножают, и этого усиления и умножения нужно бояться; они охотно останавливаются на достигнутом и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые не многого стоят, а между тем приносят им славу; таким образом, они за сходную плату оставляют в покое другие, подлинные, врожденные, глубоко

¹ Дикие звери, отвыкшие от лесов и запертые в неволе, смиряются, теряют в своем облике черты свирепости и привыкают терпеть возле себя людей; но едва в их пересохшую пасть попадает хоть капля крови, в них просыпаются ярость и бешенство; под действием отведанной крови у них разбухает глотка, и они распалются гневом, готовым вот-вот обрушиться на перепуганного хозяина (*лат.*).

укоренившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта; нет человека, который, если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некоей собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей воспитанию, а также буре враждебных ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка; я почти всегда пребываю на своем месте, как это свойственно громоздким и тяжеловесным телам. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то все же нахожусь всегда где-то поблизости. Мои порывы не уносят меня чересчур далеко. В них нет ничего чрезмерного и причудливого, и мои увлечения, таким образом, нужно считать здоровыми и полноценными.

Но что действительно заслуживает настоящего осуждения — а это касается повседневного существования всех людей, — это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении — шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других (я сам из их числа) порок тяготит, но это уравнивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо. И все же можно представить себе такую несоизмеримость удовольствия и греха, что первое — это можно сказать и относительно пользы — с полным основанием извиняет второй, и не только в том случае, когда удовольствие примешивается случайно и не имеет прямой связи с грехом, как при краже, но даже если оно неотделимо от греховного деяния, как при сближении с женщиной, когда вождление безгранично, а порою, как говорят, и вовсе неодолимо.

Побывав недавно в Арманьяке и посетив поместье одного моего родственника, я видел там крестьянина, которого никто не называет иначе, как «вор». Он рассказывает о своей жизни следующее: родившись нищим и считая, что зарабатывать хлеб трудом своих рук — значит никогда не вырваться из нужды, он решил сделаться вором и всю молодость безнаказанно занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная телесная сила; он жал хлеб и срезал виноград на чужих участках, проделывая это где-нибудь вдалеке от своего дома и перетаскивая на себе такое количество краденного, что никому и в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах все это в течение одной ночи; к тому же он старался распределять причиняемый им ущерб равномерно, так чтобы каждый в отдельности не испытывал слишком чувствительного урона. Сейчас он уже стар и для человека его сословия весьма состоятелен, чем обязан своему прошлому промыслу, в котором при-

знается с полной откровенностью. Чтобы вымолить у Бога прощение за подобный способ наживы, он, по его словам, что ни день оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей, дабы возместить свои бывшие хищения; и если он не успеет закончить эти расчеты (ибо наделить разом всех он не в силах), то возложит эту обязанность на наследников, принимая во внимание то зло, которое он причинил каждому и размеры которого известны лишь ему одному. Если судить по его рассказу, правдивому или лживому — безразлично, он сам смотрит на воровство как на дело весьма бесчестное и даже ненавидит его, однако менее, чем нужду; он раскаивается в нем как таковом, но раз уж оно было уравновешено и возмещено описанным образом, он в нем отнюдь не раскаивается. В данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приноровлять к нему даже наше мышление; здесь нет и того буйного ветра, который время от времени проносится в нашей душе, смущая и ослепляя ее и подчиняя в это мгновение власти порока.

Всему, что я делаю, я, как правило, предаюсь всем своим существом и, пустившись в путь, прохожу его до конца: у меня не бывает ни одного душевного побуждения, которое таилось бы и укрывалось от моего разума; они протекают почти всегда с согласия всех составных частей моего «я», без раздоров, без внутренних возмущений, и если они бывают достойны порицания или похвалы, то этим обязаны только моему рассудку, ибо если он был достоин порицания хоть однажды, это значит, что он достоин его всегда, так как, можно сказать, от рождения он неизменно все тот же: те же склонности, то же направление, та же сила. А что касается моих воззрений, я и теперь пребываю в той же точке, держаться которой положил себе еще в детстве.

Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, внезапно. Оставим их в стороне. Но что до других грехов, тех, в которые мы беспрестанно впадаем, о которых столько думали и говорили с другими, или грехов, связанных с особенностями нашего душевного склада, нашими занятиями и обязанностями, то я не в силах постигнуть, как это они могут столь долгое время гнездиться в чьем-либо сердце без ведома и согласия со стороны совести и разума познавшего их человека; и мне трудно понять и представить себе раскаяние, охватывающее его, как он похваляется, в заранее предписанный для этого час.

Я не разделяю взгляда приверженцев Пифагора, будто люди, приближаясь к изваяньям богов, чтобы выслушать их прорицания, обретают новую душу, разве только он хотел этим сказать, что она неизбежно должна быть какой-то иной, новой, на время обретенной,

поскольку в собственной их душе не заметно того очищения и ничем не нарушаемого покоя, которые обязательны для совершающих священнодействие.

В этом случае учение пифагорейцев утверждает нечто прямо противоположное наставлениям стоиков, требующих решительно исправлять познанные нами в себе пороки и недостатки, но запрещающих огорчаться и печалиться из-за них. Пифагорейцы — те заставляют нас думать, что они в глубине души ощущают по той же причине сильную скорбь и угрызения совести, но что касается пресечения и исправления упомянутых пороков и недостатков, а также самоусовершенствования, то об этом они не упоминают ни словом. Однако нельзя исцелиться, не избавившись от болезни. Раскаяние только тогда возьмет верх над грехом, если перевесит его на чаше весов. Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такою же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема и таинственна, внешние проявления — общепонятны и облачены в пышный наряд.

Что до меня, то, вообще говоря, я могу хотеть быть другим, могу осуждать себя в целом и не нравиться сам себе и умолять Бога о полном моем преобразении и о том, чтобы Он простил мне природную слабость. Но все это, по-моему, я могу называть раскаянием не более, чем мое огорчение, что я не ангел и не Катон. Мои поступки по-своему упорядочены и находятся в соответствии с тем, что я есть, и с моими возможностями. Делать лучше я не могу. Раскаянье, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить только о сожалении. Я могу представить себе бесчисленное множество различных характеров, более возвышенных и упорядоченных, нежели мой, однако я не исправляю благодаря этому своих прирожденных свойств, как моя рука и мой ум не становятся более мощными оттого, что я рисую в своем воображении другую руку и другой ум, какими бы они ни были. Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и стремясь к нему всей душой, мы ощущали раскаянье, нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках, — ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое лучше и благороднее, и мы постоянно желали бы поступить так же. И теперь, когда я на старости лет размышляю над своим разгульным поведением в молодости, я нахожу, что, принимая во внимание свойства моей натуры, оно было, в общем, вполне упорядоченным; на большее самообуздание я не был способен. Я нисколько не льщу себе: при сходных обстоятельствах я всегда был бы таким же самым. Это отнюдь не пятно, скорее это при-

сущий мне особый оттенок. Мне незнакомо поверхностное, умеренное и чисто внешнее раскаяние. Нужно, чтобы оно захватило меня целиком, и лишь тогда я назову его этим словом, нужно, чтобы оно переворачивало мое нутро, проникало в меня так же глубоко и пронизывало насквозь, как Божье око.

Что касается переговоров, которые мне приходилось вести, то из-за своего незадачливого поведения я не раз упускал благоприятные случаи. Мои советы, однако, бывали тщательно взвешены и отвечали потребностям обстоятельств: главная их черта — нужно избирать самый легкий и подходящий для себя путь. Полагаю, что на совещаниях, в которых я принимал когда-то участие, мои суждения о предметах, подвергавшихся рассмотрению, были, в соответствии с отмеченным правилом, неизменно благоразумными, — в подобных случаях я поступал бы в точности так же еще тысячу лет. Я имею в виду не нынешнее положение дел, а то, каким оно было тогда, когда я их обсуждал.

Всякий совет обладает действенностью лишь в течение определенного времени: обстоятельства и самая сущность вещей непрерывно в движении и бесконечно изменчивы. За свою жизнь я допустил несколько грубых и значительных промахов, и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения. В предметах, которыми приходится заниматься, таятся самые невероятные неожиданности — особенно изобилует ими человеческая природа, — немые, никак не проявляющиеся черты, порою неведомые даже самим носителям их, и все это обнаруживается и пробуждается от случайных причин. Если мой разум не смог предвосхитить и заметить их, то я несколько не виню его в этом; круг его обязанностей строго определен; меня одолевает случай, и если он покровительствует тому образу действий, от которого я отказался, то тут ничем не поможешь; я себя не корю за это, я обвиняю мою судьбу, но не свое поведение, а это вовсе не то, что зовется раскаянием.

Однажды Фокион подал афинянам некий совет, которому те не последовали. Между тем, вопреки его мнению, дело протекало весьма успешно для них, и кто-то сказал ему: «Ну что, Фокион, доволен ли ты, что все идет так хорошо?» «Конечно, доволен, — ответил тот, — доволен, что это случилось так, а не иначе, но я ни чуточки не раскаиваюсь в том, что советовал поступить так-то и так-то». Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и четко, не останавливаясь на полуслове, как поступают в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упреков, если дела обернутся наперекор их рассудку; меня это несколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом неправы, мне же не подобало отказывать им в этой услуге.

Я никоим образом не стремлюсь возлагать вину за мои ошибки или несчастья на кого-либо, кроме себя. Ибо, по правде говоря, я редко прислушиваюсь к чужим советам — разве что подчиняюсь правилам вежливости или тогда, когда я могу почерпнуть из них недостающие мне познания, а также сведения о том или ином факте. Но где требуется лишь поразмыслить, доводы со стороны могут лишь подкрепить мои собственные суждения, но чтобы они опровергли их — такого никогда не бываем. Все, что мне говорят, я выслушиваю благожелательно и учтиво, но, сколько мне помнится, вплоть до этого часа я верил только себе самому. На мой взгляд, эти высказывания — не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей воли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же мало ценю и чужие. Судьба воздаст мне за это полною мерой. Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю. Их у меня почти и не спрашивают и еще реже им доверяют, и я не знаю ни одного общественного или частного дела, которое было бы начато или доведено до конца по моему настоянию. Даже те, чьими судьбами я в некоторой мере распоряжаюсь, — и они охотнее подчиняются чьей-нибудь чужой воле, нежели моей. И поскольку о влиянии своем я пекусь менее ревностно, чем о душевном покое, мне это гораздо приятнее: не обращая на меня внимания, люди предоставляют мне возможность жить в соответствии с моими желаниями, которые состоят в том, чтобы сосредоточиться и замкнуться в себе, и для меня великая радость пребывать в полном неведении относительно чужих дел и не чувствовать на себе обязанности устраивать их.

По своем завершении всякое дело, чем бы оно ни окончилось, перестает занимать мои мысли. Если его исход оказался печальным, меня примиряет с этим следующее соображение: он не мог быть иным, ибо таково его место в великом круговороте всего сущего и в цепи причин и следствий, о которых говорят стоики; ваше воображение, как бы вы ни старались и ни жаждали этого, не в состоянии сдвинуть с места ни одной точки, не нарушив при этом установленного порядка вещей, и это касается как прошлого, так и будущего.

И вообще, я не выношу тех приступов раскаяния, которые находят на человека с возрастом. Тот, кто заявил в древности, что он бесконечно благодарен годам, ибо они избавили его от сладострастия, держался на этот счет совсем иных взглядов, чем я: никогда я не стану превозносить бессилие за все его мнимые благодеяния. *Nec tam aversa unquam videbitur ab opere suo providentia, ut debilitas inter optima inventa sit*¹. В старости мы лишь изредка предаемся любов-

¹ Провидение никогда не окажется настолько враждебным своему творению, чтобы слабость стала его лучшим свойством (*лат.*).

ным утехам, и после них нас охватывает глубокое пресыщение; тут совесть, по-моему, ни при чем; горести и слабость навязывают нам трусливую и хлипкую добродетель. Мы не должны позволить естественным изменениям брать верх над нами до такой степени, чтобы от этого страдали наши умственные способности. Молодость и ее радости не могли в свое время скрыть от меня печати порока на сладострастии; так и ныне пришедшая ко мне с годами пресыщенность не может скрыть от меня печати сладострастия на пороке. И теперь, когда оно больше не властвует надо мной, я сужу о нем точно так же, как тогда, когда пребывал в его власти. Энергично и тщательно стряхивая его с себя, я нахожу, что мой разум остался таким же, каким был в беспутные дни моей юности, — разве что ослабел и померк с приближением старости; и еще я нахожу, что, если он запрещает мне предаваться чувственным наслаждениям, заботясь о моем телесном здоровье, то и прежде он делал то же, заботясь о здоровье моего духа. Зная, что теперь он больше не борется за него, я не могу считать его более доблестным. Мои вожеления настолько немощны и безжизненны, что ему, в сущности, и не нужно обуздывать их. Чтобы справиться с ними, мне достаточно, так сказать, протянуть руку. И случись ему столкнуться с бывлым моим вожелением, он, опасаясь, справился бы с ним не в пример хуже, чем раньше. Я не вижу, чтобы он занимался чем-либо таким, чем не занимался тогда, как не вижу и того, чтобы он стал проницательнее. И если это — выздоровление разума, то как же оно для нас бедственно!

До чего ничтожно лекарство, исцеляющее посредством болезни!

Эту услугу должно было бы оказывать нам не несчастье, но наш собственный ум в пору своего расцвета. Напасти и огорчения не могут принудить меня ни к чему, кроме проклятий. Они полезны лишь тем, кто не просыпается иначе, как от ударов бича. Мой разум чувствует себя гораздо непринужденнее в обстановке благополучия. Переваривать несчастья ему гораздо труднее, чем радости: в этом случае его охватывает тревога и он начинает разбрасываться. При безоблачном небе я вижу много отчетливее. Здоровье подает мне советы и более радостные и более полезные, чем те, которые мне может подать болезнь. Я очистил и упорядочил мою жизнь, как только мог, еще в те времена, когда наслаждался всеми ее дарами. И мне было бы досадно и стыдно, если бы оказалось, что убожество и печали моего заката имеют право предпочесть себя тем замечательным дням, когда я был здоров, жизнерадостен, полон сил, и что меня нужно ценить не такого, каким я был, но такого, каким я сделался, перестав быть собой. Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, как говорит Антисфен, а в том, по-моему, чтобы хорошо жить. Я никогда не вынашивал в себе чудовищной мысли на-

пялить на голову и тело того, кто, в сущности, уже мертв, — а что иное я представляю собой? — колпак и халат философа и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудило и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни. Я хочу показать — и притом так, чтобы все это видели, — что всегда и везде я все тот же. Если бы мне довелось прожить еще одну жизнь, я жил бы так же, как прожил; я не жалею о прошлом и не страшусь будущего. И если я не обманываюсь, то как внутри, так и снаружи дело обстояло приблизительно одинаково. Больше всего я благодарен своей судьбе, пожалуй, за то, что всякое изменение в состоянии моего тела происходило в подобающее для моих лет время. Я видел себя в пору первых побегов, затем цветов и плодов, теперь наступила пора увядания. И это прекрасно, ибо естественно. Я гораздо легче переношу свои боли именно потому, что в мои годы они в порядке вещей, и потому, что, страдая от них, я с еще большей признательностью вспоминаю о долгом счастье прожитой мною жизни. И моя житейская мудрость равным образом остается, возможно, на том же уровне, что и прежде; впрочем, она была гораздо решительнее, изящнее, свежее, жизнерадостнее и непосредственнее, чем нынешняя, — закоснелая, брюзгливая, тяжеловесная.

Итак, я отказываюсь от всех улучшений, зависящих от столь печальных обстоятельств и от возможных случайностей.

Нужно, чтобы Бог пребывал в нашем сердце. Нужно, чтобы совесть совершенствовалась сама собой благодаря укреплению нашего разума, а не вследствие угасания наших желаний. Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспаленными и затуманенными ни были созерцающие его глаза. Следует любить воздержание само по себе и из уважения к Богу, который нам заповедал его, следует любить целомудрие. Что же касается воздержания, на которое нас обрекают наши катары и которым я обязан не чему иному, как моим коликам, то это не целомудрие и не воздержание. Нельзя похвалиться презрением к сладострастию и победой над ним, если не испытываешь его, если не знаешь его, и его обольщений, и его мощи, и его бесконечно завлекательной красоты. Я знал и то и другое, и кому, как не мне, говорить об этом. Но в старости, как мне кажется, наши души подвержены недугам и несовершенствам более докучным, чем в молодости. Я говорил об этом совсем молодым, но тогда меня неизменно осаживали на том основании, что я безбородый юнец. Я говорю то же самое и сейчас, когда моя сивая борода придает моим словам вес. Мы зовем мудростью беспорядочный ворох наших причуд, наше недовольство существующими порядками. Но в действительности мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие — и, как я

думаю, худшие. Кроме глупой и жалкой спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже невозможно, я замечаю у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу. Старость налагает морщины не только на наши лица, но в еще большей мере на наши умы, и что-то не видно душ — или они встречаются крайне редко, — которые, старясь, не отдавали бы плесенью и кислятиной. Все в человеке идет вместе с ним в гору и под гору.

Принимая во внимание мудрость Сократа и кое-какие обстоятельства его осуждения, я решаюсь предполагать, что он сам некоторым образом способствовал совершившемуся, намеренно предоставляя всему идти своим чередом, — ведь он достиг семидесяти лет и знал, что его блестящему и деятельному уму предстоит в близком будущем ослабеть, а свойственной ему проницательности — померкнуть.

Каким только метаморфозам не подвергает каждодневно старость — можно сказать, у меня на глазах — многих моих знакомых! Она — могущественная болезнь, настигающая естественно и незаметно. Нужно обладать большим запасом знаний и большою предусмотрительностью, чтобы избегнуть изъязов, которыми она нас награждает, или, по крайней мере, чтобы замедлить развитие их. Я чувствую, что, несмотря на все мои оборонительные сооружения, она пядь за пядью оттесняет меня. Я держусь сколько могу. Но я не знаю, куда, в конце концов, она меня заведет. Во всех случаях я хочу, чтобы знали, откуда именно я упал.

ГЛАВА III

О ТРЕХ ВИДАХ ОБЩЕНИЯ

Негоже всегда и во всем держаться своих нравов и склонностей, наиважнейшая из наших способностей — это умение приспособляться к самым различным обычаям. Неуклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости одного и того же образа жизни — означает существовать, но не жить. Лучшие души — те, в которых больше гибкости и разнообразия.

Вот поистине лестный отзыв о Катоне Старшем: *Huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unum diceres, quodcumque ageret*¹.

¹Его гибкий ум был настолько разносторонен, что, чем бы он ни занимался, казалось, будто он рожден только для одного этого (*лат.*).

Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, — как бы прекрасна она ни была, — в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться. Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение. Неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступить от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином; это значит быть рабом самого себя. Я сейчас вспомнил об этом, потому что мне не так-то легко отделаться от одного несносного свойства моей души: обыкновенно ее захватывает только то, что для нее трудно и хлопотно, и лишь этому она предается с горячностью и целиком. Сколь бы несложен ни был предмет, которым ей предстоит заниматься, она охотно усложняет его и придает ему такое значение, что ей приходится тратить на него все свои силы. По этой причине ее незанятость для меня крайне мучительна и вредно отзывается на моем здоровье. Большинству умов, чтобы востроиться и ожить, нужны новые впечатления; моему, однако, они больше нужны для того, чтобы прийти в себя и успокоиться, *vitia otii negotio discutienda sunt*¹, ибо его главнейшее и наиболее ревностное занятие — самопознание. Книги для него своего рода отдых, отвлекающий его от этого всепоглощающего дела. Первые же явившиеся ему мысли сразу возбуждают его, он стремится самым различным образом проявить свою мощь: он старается блеснуть то остротой, то строгостью, то изяществом; он сдерживает, соразмеряет и укрепляет себя. В себе самом обретает он побуждения к деятельности. Природа дала ему, как и всем, достаточно поводов к полезным раздумьям и широкий простор для открытий и рассуждений.

Для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания; я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.

Нет занятия более пустого и, вместе с тем, более сложного, чем беседовать со своими мыслями, — все зависит от того, какова беседующая душа. Самые великие души делают это занятие своим ремеслом — *quibus vivere est cogitare*². Природа настолько покровительствует этой нашей особенности, что нет ничего, чем могли бы мы заниматься более длительно, и нет дела, которому отдавались бы с бóльшим постоянством и большей готовностью. «В этом, — говорит Аристотель, — и состоит труд богов, созидающий и их счастье и на-

¹ Пороки праздности необходимо преодолевать трудом (*лат.*).

² Те, для кого жить — значит размышлять (*лат.*).

ше». Чтение служит мне лишь для того, чтобы, расширяя мой кругозор, будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память.

Лишь немногие беседы увлекают меня и не требуют от меня напряжения и усилий. Правда, прелесть и красота захватывают и занимают меня не меньше, если не больше, чем значительность и глубина. И поскольку все прочие разговоры нагоняют на меня сон и я уделяю им лишь оболочку моего внимания, со мной нередко случается, что, присутствуя при подобном обмене словами, тягучем и вялом, поддерживаемом только ради приличия, я говорю или выпаливаю в ответ такой вздор и такие смешные глупости, которые не пристали бы даже детям, или упорно храню молчание, обнаруживая еще большую неловкость и нелюбезность. Часто я погружаюсь в мечтательность и углубляюсь в свои мысли; кроме того, мне свойственно непроходимое и совершенно ребяческое невежество во многих обыденных и общеизвестных вещах. По причине этих двух моих качеств я добился того, что обо мне могут рассказывать по меньшей мере пять или шесть забавных историй, выставляющих меня самым нелепым дурнем на свете.

Итак, возвращаясь к избранной мною теме, должен сказать, что эта неподатливость и негибкость моего душевного склада заставляет меня быть разборчивым по отношению к людям — мне приходится как бы просеивать их через сито — и делает меня малопригодным для дел, выполняемых сообща. Мы живем среди людей и вступаем с ними в разные отношения; если их повадки несносны для нас, если мы гнушаемся соприкасаться с душами низменными и пошлыми — а низменные и пошлые души часто бывают такими же упорядоченными, как самые утонченные (никчемна мудрость, не умеющая приноровиться к всеобщей глупости), — то нам нечего вмешиваться ни в наши собственные, ни в чужие дела: ведь и частные и общественные дела вершатся именно такими людьми. Самые прекрасные движения нашей души — это наименее напряженные и наиболее естественные ее движения. Господи Боже! Сколь драгоценна помощь благоразумия для того, чьи желания и возможности оно приводит в соответствие между собой! Нет науки полезнее этой! «По мере сил» было излюбленным выражением и присловьем Сократа, и это его выражение исполнено глубочайшего смысла. Нужно устремлять наши желания на вещи легко доступные и находящиеся у нас под рукой и нужно уметь останавливаться на этом. Разве не глупая блажь с моей стороны чуждаться тысячи людей, с которыми меня связала судьба, без которых я не могу обойтись, и тянуться к одному, двум, пребывающим вне моего круга, или, больше того, упрямо жаждать какой-нибудь вещи, заведомо для меня недосягаемой. От природы я мягок, чужд всякой резкости и заносчивости, и это легко может избавить

меня от зависти и враждебности окружающих — ведь никто никогда не заслуживал в большей мере, чем я, не скажу быть любимым, но хотя бы не быть ненавидимым. Однако свойственная мне холодность в обращении не без основания лишила меня благосклонности некоторых, превратно и в худшую сторону истолковавших эту мою черту, что, впрочем, для них извинительно.

А между тем я бесспорно обладаю способностью завязывать и поддерживать на редкость возвышенную и чистую дружбу. Так как я жадно хватаюсь за пришедшиеся мне по вкусу знакомства, оживляюсь, горячо набрасываюсь на них, мне легко удается сблизиться с привлекательными для меня людьми и производить на них впечатление, если я того захочу. Я не раз испытывал эту свою способность и добивался успеха. Что касается обыкновенных приятельских отношений, то тут я несколько сух и холоден, ибо я утрачиваю естественность и снижаю, когда не лечу на всех парусах; к тому же судьба, обласкав меня в молодости дружбой неповторимой и совершенной и избаловав ее сладостью, и в самом деле отбила у меня вкус ко всем остальным ее разновидностям, прочно запечатлев в сознании, что настоящая дружба, как сказал один древний, — это «животное одинокое, вроде вепря, но отнюдь не стадное». Кроме того, мне по натуре претит общаться с кем бы то ни было, все время сдерживая себя, как претит и рабское, вечно настороженное благоразумие, которое нам велят соблюдать в разговорах с нашими полудрузьями или приятелями, и велят нам это особенно настоятельно в наше время, когда об иных вещах можно говорить не иначе, как с опасностью для себя или неискренне.

При всем том я очень хорошо понимаю, что каждому, считающему, подобно мне, своею конечною целью наслаждение жизненными благами (я разумею лишь основные жизненные блага), нужно бежать, как от чумы, от всех этих сложностей и тонкостей своенравной души. Я готов всячески превозносить того, чья душа состоит как бы из нескольких этажей, способна напрягаться и расслабляться, чувствует себя одинаково хорошо, куда бы судьба ее ни забросила, того, кто умеет поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тягбе, оживленно беседовать с плотником и садовником; я завидую тем, кто умеет подойти к последнему из своих подчиненных и должным образом разговаривать с ним.

И я никоим образом не одобряю совета Платона, предписывающего нам обращаться к слугам неизменно повелительным тоном, не разрешая себе ни шутики, ни непринужденности в обращении, как с мужчинами, так и с женщинами.

Ибо, кроме того, о чем я говорил выше, бесчеловечно и крайне несправедливо придавать столь большое значение несущественно-

му, даруемому судьбой преимуществу, и порядки, установленные в домах, где различие между господами и слугами ощущается наименее резко, какжуться мне наилучшими.

Иные стараются подстегнуть и взбудоражить свой ум; я — сдерживать и успокоить его. Он заблуждается лишь тогда, когда напряжен.

Narras et genus Aeaci,
Et pugnata sacro bella sub Ilio:
Quo Chium pretio cadum
Mercesmur, quis aquam temperet ignibus,
Quo praebente domum, et quota
Pelignis caream frigoribus taces¹.

Как известно, доблесть лакедемонян нуждалась в обуздывании и в нежном и сладостном звучании флейт, укрощавших ее во время сражения, поскольку существовала опасность, как бы она не превратилась в безрассудство и бешенство, — а ведь другие народы используют пронзительные звуки и громкие выкрики, чтобы подстрекнуть и распалить храбрость солдат. Так и мы, как мне кажется вопреки общераспространенному мнению, большей частью нуждаемся при нашей умственной деятельности скорее в свинце, чем в крыльях, скорее в холодности и невозмутимом спокойствии, чем в горячности и возбуждении. И самое главное: изображать из себя высокоученого мужа, находясь среди тех, кто не блещет ученостью, и непрерывно произносить высокопарные речи — *favellar in punta di forchetta*² — означает, по-моему, изображать из себя глупца. Нужно приспособляться к уровню тех, с кем находишься, и порой притворяться невеждой. Забудьте о выразительности и тонкостях; в повседневном обиходе достаточно толкового изложения мысли. Если от вас этого желают, ползайте по земле.

Ученым свойственно спотыкаться об этот камень. Они любят выставлять напоказ свою образованность и повсюду суют свои книги. В последнее время их писания настолько прочно обосновались в спальнях и ушах наших дам, что если последние и не усвоили их содержания, то, по крайней мере, делают вид, будто изучили его; о чем бы ни зашла речь, сколь бы ни был предмет ее низменным и обыденным, они пользуются в разговорах и в своих писаниях новыми и учеными выражениями,

¹ Ты мне рассказываешь о родословной Эака и о битвах под стенами священного Илиона [Трои], но ты ничего не сообщаешь о том, сколько мы платим за бочку хиосского вина, кто будет греть воду для моей бани, кто и когда предоставит мне кров, чтобы я мог избавиться от холода, что ведом пелигнам (*лат.*).

² Буквально: «говорить на кончике вилки» (*ит.*).

Hoc sermone pavent, hoc iram, gaudia, curas,
 Hoc cuncta effundunt animi secreta; quid ultra?
 Concumbunt docte¹;

и ссылаются на Платона и святого Фому, говоря о вещах, которые мог бы столь же хорошо подтвердить первый встречный и поперечный. Наука, которая не смогла проникнуть к ним в душу, осталась на кончике их языка. Если бы высокородные дамы соблаговолили поверить мне, им было бы совершенно достаточно заставить нас оценить их собственные и вложенные в них самую природой богатства. Они прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие — гасить свое собственное сияние, чтобы излучать свет, заимствованный извне; они погребли и скрыли себя под горами ухищрений. *De capsula totae*². Причина тут в том, что они недостаточно знают самих себя; в мире нет ничего прекраснее их; это они украшают собою искусства и румянят румяна. Что им нужно, чтобы быть любимыми и почитаемыми? Им дано и они знают больше, чем необходимо для этого. Нужно только немного расшевелить и оживить таящиеся в них способности. Когда я вижу, как они углубляются в риторику, юриспруденцию, логику и прочую дребедень, столь никчемную, столь бесполезную и ненужную им, во мне рождается опасение, что мужчины, побуждающие их к занятиям ею, делают это с намерением заполучить власть над ними и на этом основании держать их в своей власти. Ибо какое другое оправдание этому мог бы я подыскать? Хватит с милых дам и того, что они умеют без нашей помощи придавать своим глазам прелесть веселости, нежности и суровости, вкладывать в свое «нет» строгость, колебание и благосклонность и понимают без толмача страстные речи, обращенные к ним их поклонниками. Владая этой наукой, они повелевают всем миром, и выходит, что ученицы властвуют над своими учителями со всей их ученостью. Если им неприятно уступать нам хоть в чем-нибудь и любопытство толкает их к книгам, то самое подходящее для себя развлечение они могут найти в поэзии: это искусство лукавое и проказливое, многоликое, говорливое, все в нем тянется к наслаждению, все показное, короче говоря, оно такое же, как они. Наши дамы извлекают много полезного и из истории. В философии, в том разделе ее, где рассматриваются различные стороны жизни, они найдут рассуждения, которые научат их разбираться в наших нравах и душевных склонностях, препятствовать нашим изменам,

¹ В таких словах они выражают свой страх, гнев, радость, озабоченность; пользуясь ими, они открывают все тайны своей души. Чего больше? Они и в обморок падают по-ученому (*лат.*).

² Буквально: «Они [женщины] целиком из шкатулки» (*лат.*).

умерять дерзость своих желаний, оберегать свою свободу от посягательств, продлевать радость жизни, с достоинством переносить непостоянство поклонника, грубость мужа и докучное бремя лет и морщин и многим другим тому подобным вещам.

Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимые, ушедшие целиком в себя. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание — общаться с людьми и созидать. Я весь обращен к внешнему миру, весь на виду и рожден для общества и для дружбы. Уединение, которое я люблю и которое проповедую, состоит, главным образом, в переносе моих привязанностей и мыслей на себя самого и в ограничении и сокращении не только моих усилий, но и моих забот и желаний; достигается это тем, что я слагаю с себя попечение о ком-либо, кроме как о себе, и бегу, словно от смерти, от порабощения и обязательств, и не столько от сонма людей, сколько от сонма обступающих меня дел. Что же касается физического уединения, то есть пребывания в одиночестве, то оно, должен признаться, скорее раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего «я», и никогда я с большей охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине сам с собой. В Лувре и среди толпы я внутренне съеживаюсь и забиваюсь в свою скорлупу; толпа заставляет меня замыкаться в себе, и нигде я не беседую сам с собой так безудержно и откровенно, с таким увлечением, как в местах, требующих от нас сугубой почтительности и церемонного благоразумия. Наши глупости не вызывают у меня смеха, его вызывает наше высокоумудрие. По своему нраву я не враг придворной сумятицы; я провел в самой гуще ее часть моей жизни и, можно сказать, создан для веселого времяпровождения в многочисленных собраниях, но при условии, чтобы они не были непрерывными и происходили в удобный для меня час. Однако повышенная раздражимость ума, которую я в себе отмечаю, обрекает меня на вечное уединение даже в кругу семьи и среди многочисленных слуг и навещающих меня посетителей, ибо мой дом принадлежит к числу весьма посещаемых. Я вижу вокруг себя достаточно много народа, но лишь изредка тех, с кем мне приятно общаться; вопреки принятому обыкновению я предоставляю как себе самому, так и всем остальным неограниченную свободу. Я не терплю церемоний — постоянной опеки гостя, проводов и прочих правил, налагаемых на нас нашей обременительной учтивостью (о подлый и несносный обычай!); всякий волен располагать собой по своему усмотрению, и кто пожелает, тот углубляется в свои мысли; я нем, задумчив и замкнут, и это нисколько не обижает моих гостей.

Люди, общества и дружбы которых я постоянно ищу, — это так называемые порядочные и неглупые люди; их душевный склад на-

столько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди всего многообразия характеров такой, в сущности говоря, наиболее редок; это — характер, созданный, в основном, природой. Для подобных людей цель общения — быть между собой на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями; это — соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любые темы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и важны; ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелых и твердых суждений, все дышит добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах о новых законах наш дух раскрывает свою силу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он раскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.

Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке и успешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале совета. Гипподам утверждал, что, встречая на улице хороших борцов, он узнавал их по одной походке. Если ученость изъясняет желание принять участие в наших дружеских разговорах, мы отнюдь не отвергаем ее разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время — большего мы не ищем; когда же настанет наш час выслушать ее поучения и наставления, мы благоговейно припадем к ее трону. А пока пусть она снизойдет до нашего уровня, если захочет, ибо сколь бы полезной и желательной она ни была, я заранее убежден, что мы сможем при случае отлично обойтись без нее и сделаем свое дело, не прибегая к ее услугам. Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука — не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами.

Сладостно мне общаться также с красивыми благонаравными женщинами. *Nam nos quoque oculos eruditos habemus*¹. Если душа в этом случае наслаждается много меньше, чем в предыдущем, удовольствия наших органов чувств, которые при втором виде общения гораздо острее, делают его почти таким же приятным, как и первый, хотя, по-моему, все же не уравнивают с ним. Но это общение таково, что тут всегда нужно быть несколько настороже, и особенно людям вроде меня, над которыми плоть имеет большую власть. В ранней юности я пылал от этого, как в огне, и мне хорошо знакомы приступы неистовой страсти, которые, как рассказывают поэты, нападают порою на тех, кто не желает налагать на себя узду и не слушается ве-

¹ Ибо и глаза у нас также ученые (*лат.*).

лений рассудка. Правда, эти удары бича послужили мне впоследствии хорошим уроком,

Quicumque Argolica de classe Capharea fugit,
Semper ab Euboicis vela retorquet aquis¹.

Безрассудно отдавать этому все свои помыслы и вкладывать в отношения с женщинами безудержное и безграничное чувство. Но с другой стороны, домогаться их без влюбленности и влечения сердца, уподобляясь актерам на сцене, исключительно для того, чтобы играть модную в наше время и закрепленную обычаем роль, и не вносить в нее ничего своего, кроме слов, означает предусмотрительно оберегать свою безопасность, делая это, однако, крайне трусливо, как тот, кто готов отказаться от своей чести, своей выгоды или своего удовольствия из страха перед опасностью; ведь давно установлено, что подобное поведение не может дать человеку ничего, что бы тронуло или усладило благородную душу. Нужно по-настоящему жаждал тех удовольствий, которыми хочешь по-настоящему наслаждаться: я имею в виду тот случай, когда судьба, вопреки справедливости, благоприятствует мужскому лицемерию, а это бывает достаточно часто, ибо нет такой женщины, сколь бы нескладной она ни была, которая не мнила бы себя достойной любви и не обладала бы обаянием юности, или улыбки, или телодвижений, ибо совершенных дурнушек между ними не больше, чем безупречных красавиц, и дочери брахманов, если они начисто лишены привлекательности, выходят на площадь к народу, собранному для этого криками городского глашатая, и выставляют напоказ свои детородные части, дабы попытаться хотя бы таким путем добыть себе мужа.

По этой причине нет такой женщины, которая не поверила бы с легкостью первой же клятве своего поклонника.

За этим общераспространенным и привычным для нашего века мужским вероломством не может не следовать то, что уже ощущается нами на опыте, а именно, что женщины теснее сплачиваются между собой и замыкаются в себе или в своем кругу, дабы избежать общения с нами, или, подражая примеру, который мы им подаем, в свою очередь лицедействуют и идут на такую сделку без страсти, без колебаний и без любви — *neque affectui suo aut alieno obnoxiae*², — считая, согласно утверждению Лисия у Платона, что они могут отдаваться нам с тем большей легкостью и выгодой для себя, чем меньше мы в них влюблены.

¹ Кто из арголийского [греческого] флота избежал кафарейских скал, тот всегда направляет свои паруса прочь от эвбейских вод (*лат.*).

² Ни по влечению своего чувства, ни отзываясь на чувство другого (*лат.*).

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	5
----------------------	---

КНИГА ПЕРВАЯ

(перевод А. С. Бобовича)

<i>Глава I.</i> РАЗЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО ДОСТИЧЬ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ	9
<i>Глава II.</i> О СКОРБИ	12
<i>Глава III.</i> НАШИ ЧУВСТВА УСТРЕМЛЯЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАШЕГО «Я»	15
<i>Глава IV.</i> О ТОМ, ЧТО СТРАСТИ ДУШИ ИЗЛИВАЮТСЯ НА ВООБРАЖАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КОГДА ЕЙ НЕДОСТАЕТ НАСТОЯЩИХ.	22
<i>Глава V.</i> ВПРАВЕ ЛИ КОМЕНДАНТ ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ ВЫХОДИТЬ ИЗ НЕЕ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРОТИВНИКОМ?	25
<i>Глава VI.</i> ЧАС ПЕРЕГОВОРОВ — ОПАСНЫЙ ЧАС	27
<i>Глава VII.</i> О ТОМ, ЧТО НАШИ НАМЕРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СУДЬЯМИ НАШИХ ПОСТУПКОВ	30
<i>Глава VIII.</i> О ПРАЗДНОСТИ	31
<i>Глава IX.</i> О ЛЖЕЦАХ	33
<i>Глава X.</i> О РЕЧИ ЖИВОЙ И О РЕЧИ МЕДЛИТЕЛЬНОЙ.	38
<i>Глава XI.</i> О ПРЕДСКАЗАНИЯХ	40
<i>Глава XII.</i> О СТОЙКОСТИ	44
<i>Глава XIII.</i> ЦЕРЕМОНИАЛ ПРИ ВСТРЕЧЕ ЦАРСТВУЮЩИХ ОСОБ	47

<i>Глава XIV.</i> О ТОМ, ЧТО НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ БЛАГА И ЗЛА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ МЫ ИМЕЕМ О НИХ	48
<i>Глава XV.</i> ЗА БЕССМЫСЛЕННОЕ УПРЯМСТВО В ОТСТАИВАНИИ КРЕПОСТИ НЕСУТ НАКАЗАНИЕ	69
<i>Глава XVI.</i> О НАКАЗАНИИ ЗА ТРУСОСТЬ	70
<i>Глава XVII.</i> ОБ ОБРАЗЕ ДЕЙСТВИИ НЕКОТОРЫХ ПОСЛОВ	71
<i>Глава XVIII.</i> О СТРАХЕ	74
<i>Глава XIX.</i> О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ, СЧАСТЛИВ ЛИ КТО-НИБУДЬ, ПОКА ОН НЕ УМЕР	77
<i>Глава XX.</i> О ТОМ, ЧТО ФИЛОСОФСТВОВАТЬ — ЭТО ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ УМИРАТЬ	79
<i>Глава XXI.</i> О СИЛЕ НАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ	96
<i>Глава XXII.</i> ВЫГОДА ОДНОГО — УЩЕРБ ДЛЯ ДРУГОГО	107
<i>Глава XXIII.</i> О ПРИВЫЧКЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО НЕ ПОДОБАЕТ БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ МЕНЯТЬ УКОРЕНИВШИЕСЯ ЗАКОНЫ	108
<i>Глава XXIV.</i> ПРИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ НАМЕРЕНИЯХ ВОСПОСЛЕДОВАТЬ МОЖЕТ РАЗНОЕ	124
<i>Глава XXV.</i> О ПЕДАНТИЗМЕ	133
<i>Глава XXVI.</i> О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ	145
<i>Глава XXVII.</i> БЕЗУМИЕ СУДИТЬ, ЧТО ИСТИННО И ЧТО ЛОЖНО, НА ОСНОВАНИИ НАШЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ	180
<i>Глава XXVIII.</i> О ДРУЖБЕ	184
<i>Глава XXIX.</i> ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СОНЕТОВ ЭТЬЕНА ДЕ ЛА БОЭСИ	197
<i>Глава XXX.</i> ОБ УМЕРЕННОСТИ	198
<i>Глава XXXI.</i> О КАННИБАЛАХ	203
<i>Глава XXXII.</i> О ТОМ, ЧТО СУДИТЬ О БОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДНАЧЕРТАНИЯХ СЛЕДУЕТ С ВЕЛИЧАЙШЕЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬЮ	215
<i>Глава XXXIII.</i> О ТОМ, КАК ЦЕНОЙ ЖИЗНИ УБЕГАЮТ ОТ НАСЛАЖДЕНИЙ	217
<i>Глава XXXIV.</i> СУДЬБА НЕРЕДКО ПОСТУПАЕТ РАЗУМНО	219
<i>Глава XXXV.</i> ОБ ОДНОМ УПУЩЕНИИ В НАШИХ ПОРЯДКАХ	222

<i>Глава XXXVI. ОБ ОБЫЧАЕ НОСИТЬ ОДЕЖДУ</i>	223
<i>Глава XXXVII. О КАТОНЕ МЛАДШЕМ.</i>	226
<i>Глава XXXVIII. О ТОМ, ЧТО МЫ СМЕЕМСЯ И ПЛАЧЕМ ОТ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ</i>	230
<i>Глава XXXIX. ОБ УЕДИНЕНИИ</i>	234
<i>Глава XL. РАССУЖДЕНИЕ О ЦИЦЕРОНЕ</i>	246
<i>Глава XLI. О НЕЖЕЛАНИИ УСТУПАТЬ СВОЮ СЛАВУ</i>	251
<i>Глава XLII. О СУЩЕСТВУЮЩЕМ СРЕДИ НАС НЕРАВЕНСТВЕ.</i>	253
<i>Глава XLIII. О ЗАКОНАХ ПРОТИВ РОСКОШИ</i>	263
<i>Глава XLIV. О СНЕ</i>	265
<i>Глава XLV. О БИТВЕ ПРИ ДРЁ</i>	267
<i>Глава XLVI. ОБ ИМЕНАХ</i>	268
<i>Глава XLVII. О НЕНАДЕЖНОСТИ НАШИХ СУЖДЕНИЙ</i>	273
<i>Глава XLVIII. О БОЕВЫХ КОНЯХ</i>	278
<i>Глава XLIX. О СТАРИННЫХ ОБЫЧАЯХ.</i>	287
<i>Глава L. О ДЕМОКРИТЕ И ГЕРАКЛИТЕ</i>	291
<i>Глава LI. О СУЕТНОСТИ СЛОВ.</i>	294
<i>Глава LII. О БЕРЕЖЛИВОСТИ ДРЕВНИХ</i>	297
<i>Глава LIII. ОБ ОДНОМ ИЗРЕЧЕНИИ ЦЕЗАРЯ.</i>	298
<i>Глава LIV. О СУЕТНЫХ УХИЩРЕНИЯХ</i>	299
<i>Глава LV. О ЗАПАХАХ</i>	302
<i>Глава LVI. О МОЛИТВАХ</i>	304
<i>Глава LVII. О ВОЗРАСТЕ.</i>	314

КНИГА ВТОРАЯ

*(Главы I—XII и XXV—XXXVII переведены Ф. А. Коган-Бернштейн,
главы XIII—XXIV — А. С. Бобовичем)*

<i>Глава I. О НЕПОСТОЯНСТВЕ НАШИХ ПОСТУПКОВ</i>	319
<i>Глава II. О ПЬЯНСТВЕ</i>	326
<i>Глава III. ОБЫЧАЙ ОСТРОВА КЕИ</i>	335
<i>Глава IV. ДЕЛА — ДО ЗАВТРА!</i>	348
<i>Глава V. О СОВЕСТИ</i>	350
<i>Глава VI. ОБ УПРАЖНЕНИИ</i>	353

<i>Глава VII. О ПОЧЕТНЫХ НАГРАДАХ</i>	364
<i>Глава VIII. О РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ</i>	367
<i>Глава IX. О ПАРФЯНСКОМ ВООРУЖЕНИИ</i>	385
<i>Глава X. О КНИГАХ</i>	388
<i>Глава XI. О ЖЕСТОКОСТИ</i>	401
<i>Глава XII. АПОЛОГИЯ РАЙМУНДА САБУНДСКОГО</i>	416
<i>Глава XIII. О ТОМ, КАК НАДО СУДИТЬ О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ПРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ</i>	589
<i>Глава XIV. О ТОМ, ЧТО НАШ ДУХ ПРЕПЯТСТВУЕТ СЕБЕ САМОМУ</i>	596
<i>Глава XV. О ТОМ, ЧТО ТРУДНОСТИ РАСПАЛЯЮТ НАШИ ЖЕЛАНИЯ</i>	597
<i>Глава XVI. О СЛАВЕ</i>	603
<i>Глава XVII. О САМОМНЕНИИ</i>	617
<i>Глава XVIII. ОБ ИЗОБЛИЧЕНИИ ВО ЛЖИ</i>	651
<i>Глава XIX. О СВОБОДЕ СОВЕСТИ</i>	656
<i>Глава XX. МЫ НЕСПОСОБНЫ К БЕСПРИМЕСНОМУ НАСЛАЖДЕНИЮ</i>	660
<i>Глава XXI. ПРОТИВ БЕЗДЕЛЬЯ</i>	663
<i>Глава XXII. О ПОЧТОВОЙ ГОНЬБЕ</i>	667
<i>Глава XXIII. О ДУРНЫХ СРЕДСТВАХ, СЛУЖАЩИХ БЛАГОЙ ЦЕЛИ</i>	668
<i>Глава XXIV. О ВЕЛИЧИИ РИМЛЯН</i>	672
<i>Глава XXV. О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ПРИКИДЫВАТЬСЯ БОЛЬНЫМ</i>	674
<i>Глава XXVI. О БОЛЬШОМ ПАЛЬЦЕ РУКИ</i>	676
<i>Глава XXVII. ТРУСОСТЬ — МАТЬ ЖЕСТОКОСТИ</i>	677
<i>Глава XXVIII. ВСЯКОМУ ОВОЩУ СВОЕ ВРЕМЯ</i>	687
<i>Глава XXIX. О ДОБРОДЕТЕЛИ</i>	689
<i>Глава XXX. ОБ ОДНОМ УРОДЦЕ</i>	695
<i>Глава XXXI. О ГНЕВЕ</i>	697
<i>Глава XXXII. В ЗАЩИТУ СЕНЕКИ И ПЛУТАРХА</i>	704
<i>Глава XXXIII. ИСТОРИЯ СПУРИНЫ</i>	710

<i>Глава XXXIV. ЗАМЕЧАНИЯ О СПОСОБАХ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ.</i>	717
<i>Глава XXXV. О ТРЕХ ИСТИННО ХОРОШИХ ЖЕНЩИНАХ</i>	726
<i>Глава XXXVI. О ТРЕХ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЯХ</i>	733
<i>Глава XXXVII. О СХОДСТВЕ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ.</i>	740

КНИГА ТРЕТ Я

*(Главы I—VI, IX—X переведены А. С. Бобовичем,
главы VII—VIII, XI—XIII переведены . . . ы овой)*

<i>Глава I. О ПОЛЕЗНОМ И ЧЕСТНОМ.</i>	771
<i>Глава II. О РАСКАЯНИИ.</i>	786
<i>Глава III. О ТРЕХ ВИДАХ ОБЩЕНИЯ</i>	801
<i>Глава IV. ОБ ОТВЛЕЧЕНИИ</i>	814
<i>Глава V. О СТИХАХ ВЕРГИЛИЯ.</i>	825
<i>Глава VI. О СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ</i>	890
<i>Глава VII. О СТЕСНИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОГО ПОЛОЖЕНИЯ . . .</i>	910
<i>Глава VIII. ОБ ИСКУССТВЕ БЕСЕДЫ</i>	914
<i>Глава IX. О СУЕТНОСТИ.</i>	938
<i>Глава X. О ТОМ, ЧТО НУЖНО ВЛАДЕТЬ СВОЕЙ ВОЛЕЙ</i>	1001
<i>Глава XI. О ХРОМЫХ</i>	1026
<i>Глава XII. О ФИЗИОГНОМИИ.</i>	1037
<i>Глава XIII. ОБ ОПЫТЕ</i>	1065
<i>Ф. А. Коган-Бернштейн. МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ И ЕГО «ОПЫТЫ» . . .</i>	1120